

ВЕРА ГАЛАКТИОНОВА



СПЯЩИЕ ОТ ПЕЧАЛИ

ПОВЕСТЬ

* * *

Страшно тихо сделалось этой ночью в Столбцах. И в крошечной тьме вершилось таинство перемены: сей час и миг стремительно покидала поздняя осень спящий полуразрушенный городишко.

Бесшумно летит вдоль улиц позёмка с пылью. Весь ледяной ветер широко стелется понизу, наметает скудный сухой снег в канавы — и срывает его с кочек, с лысых бугров, с дорожных подъёмов. Падает вьюжный ветер в лощины, взбегает на всхолмья. Приходит из степи — и уходит в степь, волна за волной, без повиста, шороха, гула. Как свирепая собака мчится неслышно и уж потом кусает без лая, так бледная молодая эта зима несётся стремглав, звериным низким намётом, чтобы взвиться и напасть, спустя время, на всякое тепло, затаившееся в клетках тёмных жилищ.

Ещё не схватывает чёрные стёкла домов колючим узором злое её дыхание, а только вьётся оно и змеится у самых порогов. И не завывает ветер в выбитых окнах брошенных многоэтажек, торчащих на горе. Немо зевают они в ночи, без вдоха и выдоха. Низом, низом летит стремительный лютый холод. И уже оцепенела от него земля, сделавшись каменной. А от внезапного отключения электричества оцепенела, замерла всякая жизнь в Столбцах ещё с вечера.

ГАЛАКТИОНОВА Вера Григорьевна родилась в г. Сызрани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор романов “Зелёное солнце”, “На острове Буяне”, “5/4 накануне тишины”, книг прозы “Шаги”, “По мосту — по мосточку”, “Слова на ветру опустевшего века”, “Крылатый дом” и других. Лауреат литературных премий им. А. Платонова, А. Дельвига. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

И небо оставило землю без пригляда — ни единой наблюдательной звезды нет в толще тьмы наверху. И весь неосвещённый городишко стал как неживой.

Загодя уснули безработные в щитовых домах, сгрудившихся возле тёмной громады давно простаивающего горно-обогатительного комбината. В подвальном тёмном цехе его приткнулись к бочкам со старым химическим раствором чьи-то дети, надыхавшиеся вдоволь испареньями. Забывшие свои имена, прозываются они все одинаково — чуханы. Нет у них больше возраста и пола. Играют их сонными душами бесьи голоса, морочат воображение рябые уродливые видения.

В поверхностной дурной дрёме, нахохлившись по-птичьи, давно не понимают оборванцы ночи и дня, тепла и холода, зла и добра. Умирают потихоньку в привычных грёзах, истаивают в темноте, меркнут их судьбы, задавленные нуждою взрослых. Спят по разным чуланам и каморкам нищие, не ходившие к вечернему поезду — так темна стала нынче дорога через овраг, что лучше поголодать, чем возвращаться по ней. Спят в уцелевших жилищах остриженные наголо допризывники, месяц назад получившие неожиданную отсрочку, и отвоевавшие в Чечне калеки. Спят чистые прилежные школьницы и хворые проститутки. Усталые продавщицы, отмывшие от плесени кольца испорченной колбасы и намазавшие их подсолнечным маслом для маловероятной завтрашней продажи — и тощие учительницы, которым снятся кольца маслянистой этой отмытой колбасы, тоже спят.

С раннего вечера угомонились в микрорайоне бандиты, промышленяющие на далёкой трассе; кому хочется топтаться на обочине в этакий холод? Только шарашится на окраине тщедушный подросток-наркоман, пробирающийся к цыганскому посёлку, да вряд ли дойдёт, кутаясь в рваную летнюю куртку: замёрзнет небось по дороге, отмучается навеки. Что ж, за такую смерть не придётся ему наконец-то платить, а медленная стоит денег, денег, многих денег и слёз...

И замер во тьме, на отшибе, возле котельной, старый барак целинной стройки, в котором объединены низким душным коридором несколько обжитых крошечных квартир. Но вот в одной из них, самой чистой и прибранной, далеко за полночь проснулся ребёнок.

* * *

Саня ворочается в тесных пелёнках, укрытый стёганым одеяльцем. Не горит в прихожей ночник, не светит привычно из угла тарелка обогревателя. Ребёнок опять оказался в такой же тьме, как до рождения, только в огромной и не защищающей. Он дышит тьмой, опасно просторной, и вбирает её зреньем по чуть-чуть, чтобы не понять больше, чем нужно, от чего может зайтись беспомощное, не вполне привыкшее жить сердце: в темноте, обступившей детскую коляску со всех сторон, затаилось будущее. Грядущее, будто вор — похититель счастья и самой человеческой жизни, — выжидает своего часа: но оно — уже здесь.

Со временем зренье младенца перевернётся. Взгляд его станет, как у взрослого человека, и память ничего не воспроизведёт из того, что витает рядом. А пока чуткая природа хранит беспомощное дитя, предостерегая: в огромной остывающей тьме маленькому телу нужно жить осторожно, и дышать осторожно, и смотреть из-под опущенных век — по чуть-чуть.

Ребёнку хочется плакать и отвернуться от черноты. Он же только терпеливо морщит личико. И молчит — чтобы не взбаламутить, не вспугнуть устоявшуюся тьму с великими и грозными её смыслами. Лишь бы не заходили они, беспощадные, ходуном, не обрушились бы на существо крошечное, недавно здесь появившееся и ещё чужое миру вещей и людей, привыкших жить на этом свете.

Слабо поскрипывает под младенцем хлипкая коляска на рессорах. Сбилось на сторону детское одеяло. Давно бы пора погладить ребёнка, и перепеленать потуже, и укрыть заново. Но никто не спешит к нему, не склоняется, не зовёт тихим голосом: “Саня?.. Что? Что ты, хороший?”

Юная его мать Нюрочка крепко спит под могильными венками.

* * *

Ей снится странный сон — про Землю, Небо и про души спящих. Во сне все они скованы множеством забот, не приносящих прока. И все, томясь, будто колодники, и жалуясь друг на друга, хотят пробиться сквозь тьму ввысь, где должен быть свет. Но плотное чёрное небо вынужденного греха нависло над всеми. И тьма эта — смерть душ.

Ещё Нюрочка видит, откуда-то сбоку и сверху, как сияет огнями Гнездо — там живут правители жизни спящих. Красные дворцы начальства выстроены в десяти километрах от Столбцов, при отдельной, всегда работающей электростанции. Огромные тарелки локаторов ловят для жителей Гнезда сигналы спутников-надзирателей, спутников-доносчиков. И видит Нюрочка нарядное, сытое веселье, и плоские телевизоры с холёными выпуклыми лицами новых земных господ, не стесняющихся своей холёности в мире, разрушенном ими. “Звери, — окликает их Нюрочка, горюя. — Звери, отчего вам дана такая власть над нами?”

Она смотрит сверху — и не знает, что эти души не умеют слышать того, в чём нет для них земной выгоды. Души новых земных господ немые и глухие. И они не тоскуют по свету небес — им вольготно внизу. Чем хуже народу, тем нарядней, тем роскошней их наглая жизнь. А чем хуже народу, тем он выше и выше новых господ — и тем дальше от них: лишь плотное небо вынужденного греха не пускает его к свету надземному. Нет этим людям жизни на земле, нет им и пути на самый светлый верх, а меж смертью и жизнью, как меж небом и землёю, голодно пребывать, зябко. Томятся, жалуется души спящих — и не видят спасенья ниоткуда.

Но гуляет и привычно веселится нарядное Гнездо, утопающее в сиянии искусственного обильного света. И высокие бокалы с гранатовым соком — тёмным, как живая кровь, и густым, как живая кровь, — сияют на их столах. И сияют пресыщенностью улыбки новых земных господ на плоских экранах, сбивающих свой наркотический коктейль из цветных точек — неустанно смешивающих в своём мерцании Запад с Востоком, Восток с Западом в одно дикое, рябое месиво, в котором становится всё больше красного, багрового, тёмного. Пиру пир! Пылают красные рты правителей, улыбающихся друг другу с разных континентов. Пиру пир!..

“Разве можно радоваться тому, что вы сделали с нами? — ужасается их торжеству над миром юная мать, спящая под колючими венками. — Разве можно так ликовать вам, посеявшим на огромных безмолвных просторах державы бедность, разруху, страданье? Разве так можно?”

* * *

Души новых земных господ, чуткие лишь к барышу, никогда не услышат того, о чём спрашивает их измученная Нюрочка. Она же зовёт их, и окликает сверху, и спрашивает без всякого толка, в бездонной своей печали: “Звери! Зачем питаетесь вы нашими живыми жизнями?.. Отчего носите вы человеческие обличья?.. Когда же проступит звериный ваш оскал въяве — и ужаснёт всех, и оттолкнёт? Когда?..” Она всё спрашивает и спрашивает их, не просыпаясь, и горюет, потому что видит всех сразу: безвременно, загодя, безнадежно, полуборморочно спящих во мраке — и празднующих праздных, пышно пирующих в обильном электрическом свете, и только не видит Сани. “Ты ведь уже родился, я помню, — ищет всюду она своего младенца. — Где ты?.. Как жалко, что ты родился”.

Она зовёт Саню и жалеет его — за то, что трудно он выбирался в мир людей; безуспешно и трудно. Из-за малокровья Нюрочкино тело оказалось способным только на слабую родовую деятельность. И Саня уже задыхался, когда ей сделали кесарево сечение. Значит, его прошлое только боль и страх

рождения. То есть страх смерти... У неё даже швы не зажили толком. А от малокровия нужно много гулять под счастливым, ярким солнцем. И пить гранатовый сок. Тёмный, как живая кровь, и густой, как живая кровь, он, чудодейственный и богоданный, восстанавливает самые большие человеческие кровопотери... Но это — дорогой сок. И потому его нет в Столбцах. Покупателей хорошего товара здесь найти трудно. А гулять без дела Нюрочке совсем, совсем было некогда, тем более что и солнца давно уж нет никакого: плотное небо вынужденного греха висит над Столбцами...

Бедный Саня, народившийся недавно, не озяб ли он? И как Нюрочке отыскать своё дитя в огромном стынущем пространстве ночи? Ночь бедных черна, холодна и необъятна, конца ей не видно.

“Ты не во мне, Саня... Ты исторгнут, вытолкнут, выброшен в страшный мир, одинокий мой. Теперь мне труднее сберечь тебя. Сберегу ли? Не знаю... Как жить нам порознь, Саня? Где мне взять сил, чтобы и теперь укутать тебя собою?... Нами правят звери, не знающие жалости и сострадания. Они поглощают наши жизни. Из высоких своих бокалов они допьют наши жизни и души до конца, словно густой сок, самый дорогой и тёмный. Тёмный, как человеческая кровь. Кто остановит их, поглощающих жизни миллионов людей?... Саня, крохотный мой, где ты?”

Давно пришедший в упадок, отрезанный небрежным делением границ от России, бесхозный тот городишко кажется Нюрочке лишь стадом разбредшихся и замерших корпусов, вразнобой прижавшихся к юго-восточным отрогам Уральских гор. Она ищет Саню повсюду, но только видит студёный ветер, метущий позёмку с пылью, волну за волной, видит души спящих от печали — и видит скучные остывшие века, которые стелятся понизу: они прах и жизнь — жизнь, и прах, и вечное равнодушное движенье... В эпоху разлома империй не дай вам Бог жить на пограничных окраинах национальных материков.

* * *

...Из южных народов никто и никогда не стремился обосноваться тут для осёдлой жизни. Даже на летнее зелёное пастбище сюда не пригоняло скот ни одно из азиатских племён. Всё, всё здесь было слишком необычным для кочевников. Уже в месяце шилде — в самую макушку лета — травы в этих лощинах выгорали дочиستا. И сквозь корявые сухие корневища проглядывала странная горячая земля — розовая, будто кожа заболевшего младенца.

Эта негодная местность считалась у тюрков Воротами ветра, а ветры зарождаются и вертятся духами опасными, непонятными. И лучше проскакать через вихревые Ворота половину суток без передышки, пришпоривая утомившегося коня, но не останавливаться здесь даже на краткий привал. Не стоило спешиваться для отдыха на воспалённую нежную землю, не следовало пить воду из мелких её озёр — то малиновых, то жёлтых, а то изумрудно-зелёных. Нельзя было любоваться ими и подолгу стоять на одном месте, будь то жаркое лето с ветром знобящим, окатывающим путника с неба, как ледяной водопад, — будь то зима, закручивающая снежные вихревые столбы до самого неба.

Высокие выюги, опасно раскачивающие звёздный ковш, опадали в Воротах ветра лишь весной и долго ещё потом бесшумно стлались понизу, пока не превращались в талую цветную воду — малиновую, жёлтую, изумрудную...

* * *

Но Столбцами именовалась только старая часть городишка — издавна так называлось небольшое поселенье русских степняков, живших здесь с незапамятных времён. Скот, который они разводили, был мелким и неказистым, а шаткие постройки для его содержания строились из вязанок камыша, обмазанных глиной с коровьим свежим помётом. Бывало, что осенней порой

степняки втыкали в глину тонкие саженцы тополей, неведомо откуда привезённые. Те хорошо приживались и даже вырастали необычайно сильными в два лета. Однако уже к третьей осени вместо молодых деревьев торчали в розовой степи, лаково блестящей от холодных дождей, только чёрные их остовы.

Человеческий век этих поселенцев был короче обычного. Но и за быстротечную свою жизнь уставали эти люди отражать, из поколения в поколение, набеги диких кипчакских всадников, бесприютных и жестоких, как здешние ветры.

Позже Столбцы грабили низкорослые киргизские орды, умевшие просачиваться сквозь Кокандскую линию крепостей, и рослые воинственные адаевцы, кочевавшие в Прикаспийской полупустынной низменности с древних времён. Забираясь так далеко на северо-восток, раскосые и плосколицые никогда не обретали тут большой наживы. Даже в средние века они понапрасну отвлекались от большого Шёлкового пути с его тяжёлыми караванами. И хоть уже совсем не часто двигались в ту пору по глубоким степным колеям скрипучие повозки с бухарскими шелками и пряностями, однако удачная многодневная засада могла ещё принести разбойникам вдоволь верблюжьего мяса, не считая тюков диковинного товара.

Понять, что влекло грабителей в холодные далёкие края — опрятные, но не богатые, — совершенно невозможно поныне. И удачно отбитый у русских степняков пяток низкорослых косматых коров, странно смахивающих на коз, не стоил таких трудных переходов: в обход казачьих кордонов, постреливающих с самарской стороны, или через пустынные пространные степи нищих каракесеков — бесприютных бродяг, вылавливающих силками сусликов и барсуков, а зимою впадающих в спячку по глиняным норам, похожим на берлоги.

Военная добыча съедалась адаевцами на обратном стремительном пути, за пределами гиблых земель, в один присест, да и то если грабителей не настигала погоня. Но бездумное круженье во времени и шальная маета неусидчивых племён, норовящих схватить не важно что и раствориться в дали, снова гнала их пуще плети на русские рогатины, вилы, ножи и ружья. И не было уж ни сил, ни времени у жителей Столбцов, чтобы перебраться ближе к городам, а если кто и отравился от сородичей, то возвращался вскоре тусклый, с покорёженной душой, да и говорил прочим для науки навсегда обесцветенным голосом: “Нет, братцы, столицы не про нас — там ещё моде на немцев конца не видать... Иноземное всё прибывает, а русское изгоняется, — прячется оно по самым глухим местам, хоронится по лесам, болотам, лощинам и живо бывает одною нуждой да старым обычаем. А где вы найдёте место глуше нашего? Потому и будет оно для нас понадежней всего”.

И уж который век в Столбцах самые жестокие и справедливые дети наказывали провинившихся малышей “москвою”. Кто-нибудь рослый поднимал шалуна за голову, прижав ладони к его ушам. А когда ноги виноватого отрывались от земли, то карательные жёсткие пальцы за одни только багровеющие уши держали проказника в воздухе, всё выше подтягивая и подтягивая их: “Видал Москву? Видал?” “Вида-а-ал!” — орал от несусветной боли провинившийся, давясь слезами. “Видал! Ой, видал...” Тогда прощали его, утирающего сопли ладошкой: “То-то! Будешь знать, как безобразить”. И ставили на место.

Правда, время от времени кое-кто из Столбцов пробирался всё же далеко на юг, через раскалённые мёртвые пески, к семиреченским казакам, в края барбарисовые, яблочные, солнечно-медовые. Другие уходили на Пресновскую казачью линию, к востоку, скрывающему тайну благословенного Беловодья за курящимися поднебесными вершинами гор. Третьи добирались до ящичких прибрежных станиц, ежевичных, икряных, осетровых...

Но пришлых людей не жаловали ни тут, ни там, хоть и принимали иногда в батраки, на тяжёлые поганые работы. И слишком, слишком долгими бывали такие переезды для семейных повозок. Так что отрывался от Столбцов лишь какой-нибудь порченный шалопутный парень, хлебнувший любовной отравы, угрюмый книжник, не нашедший истины меж строк, закапан-

ных свечным воском, да истосковавшийся по лучшей доле бездетный бо-быль... К тому ж пограничье, восточное, западное, южное, спокойной жизни не сулило никому, а дремучий лесной север был ничуть не лучше Столбцов. Здесь азиат налетит — но умчится он восвояси от гиблого места подальше. Там же изведёт не урядник местный, так ростовщик-живодёр, городской судья — суконное рыло иль напудренный голштинский голощёкий купец.

* * *

Однако кровавая советская заря усмирила всех — и русских степняков, и отважных казаков, и стремительных адаевцев; она обагрила полукочевой этот край до самого Каспия солёной яркой влагой. Идея беспощадного равенства надвинулась с запада на народы, истребляя в них всё самое сильное, а значит, готовое к сопротивлению. Но если бы здесь царило неукоснительное равенство, то на народы надвинулась бы тогда идея беспощадного неравенства: дело было не в идее, а только в жгучем желании переворота того, что уже есть. Самое сильное — то есть готовое к сопротивлению — уничтожалось бы и тогда с тем же упорным коварством. Люди, больные этим желанием, не терпят реальности — они загоняют себя и других в мир своих странных рябых грёз, которые не осуществляются до конца никогда, поскольку сменяются новыми, ещё более несбыточными.

Но бесчисленные человеческие жертвы Великой Красной Прелести были, наконец, принесены. И, равно обессилев, присмирив и оробев, уцелевшие отребья самостоятельных когда-то родов, русских и азиатских, принялись безропотно созидать то, что приказывали им уполномоченные — пришлые звинченные люди с наганами, дуреющие от страха перед попраным старым и перед призрачным новым. Выжившему отребью предстояло в панически короткие сроки овеществовать для уполномоченных призрачное — здесь, в азиатской России, здесь — в русской Азии. Так при строительстве горно-обогательного комбината вокруг Столбцов образовался городок — и даже разросся позже, когда поблизости, в сотне километров, рядом с бокситами обнаружился уран.

* * *

Молодая Санина мать, спящая под могильными венками, не слышит, как поскрипывает во тьме детская коляска, и уже не помнит о душах спящих — и о душах празднующих не помнит тоже. Нюрочка старается понять, даётся ли ребёнку выбор — когда ему родиться, где и у кого. И так важно, так необходимо ей это понять сейчас, что она старается произнести слова вслух — не может, и снова старается:

“Тшшш. Тихо, тихо, милый. Ты сам захотел родиться у нас?.. Пока не стал ты взрослым и не забыл, скажи мне: ты — знал, что для рожденья будет тебе тогда отведено только это убогое место на Земле? И ты согласился на него?.. Ответ же, Саня, был ли у тебя выбор?!”

Если был, то что же ты наделал, Саня, бедный мой. Что ты наделал!..”

Давно пришедший в упадок, бесхозный городишко кажется ей в ночи только стадом разбредшихся и замерших корпусов, вразнобой прижавшихся к плоским отрогам гор. И она улыбается горестно во сне от щемящей жалости, не видя сына, но чувствуя его присутствие где-то рядом.

“...Конечно, тогда меня ты выбрал правильно, Саня. Потому что любить тебя, как я, никто на Земле не смог бы и не сумел бы во все другие времена... Может быть, ты поджидал долго, веками и тысячелетиями, когда появлюсь на свете я, и вырасту, и когда тебе можно будет наконец-то оказаться во мне, и развиться, и запроситься на свет?.. Может быть, ты так сильно захотел родиться именно у меня, что согласился и на время это, и на этот город?..”

Если это твой выбор, маленький мой, то как же сильно ты любил меня,

Саня, ещё до своего рожденья! Но... разве можно было решиться на рожденье в это время — и в этом краю?!

Смотри: наш город почти разрушен — он кажется только стадом разбредшихся и замерших корпусов. В нём запустенье, мрак и нужда, в нём — тревожная дрема и лихорадочный труд, не приносящий радости... Здесь даже стрелка компаса не знает своего спокойного положения и маяется. Она мечется, путая север с востоком, юг — с западом. Здесь всё неустойчиво, Саня, и люди предчувствуют, что не долго они протянут на этом свете. Поэтому им надо быстро жениться, быстро выйти замуж, быстро дать потомство. А теперь прибавилась новая напасть: здесь мы уже, впервые, люди без Родины, Саня! Она исторгла, выбросила, вытолкнула нас из себя странным делением границ...

Ты, верно, не захотел родиться у нарядных людей, правящих миром вещей. Ты родился у нас. У меня и Ивана. Но... что ты наделал, Саня?! Если у тебя был выбор, то что же ты, бедный, натворил?!”

И снова не понимает юная Нюрочка, отчего и как это происходит — что жизнь, дремлющая веками в небытии, вдруг начинает пробиваться к свету в столь неуточный миг. “Зачем — у нас, не имеющих возможности правильно, хорошо жить? Зачем — здесь?!”

Крошечный Саня. Ты не испугался того, что это будут Столбцы... Какой ты храбрый мальчик! Какой же ты храбрый...

Теперь ты здесь.

Прости меня, что я оказалась здесь...

Но другого места не нашлось для меня на земле”.

* * *

Молодой бандит с сизыми кулаками, литыми, словно пудовые гири, не расхаживает этой ночью по низкому барачному коридору. И лучше было бы всем, если б он не приезжал сюда вовсе со своими подарками, никогда, никогда. Но беспутный широкомордый внук почтенного Жореса появляется у деда в комнате то и дело. Подъезжает на иностранной чёрной машине, похожей на огромную резиновую блестящую калошу, выбирается с бархатного красного автомобильного сиденья. Он тащит к столу старика увесистую телячью ляжку и нарезает мясо своим странным ножом, выскакивающим из металлической рамки мгновенным, непонятным образом бесшумно.

Спит и не спит старый Жорес. И видит снова минувшее — как внук укладывает в холодильник “Саратов” тяжёлые куски, заботясь о старике. А старик не знает, что делать с этой молодой говядиной, пахнувшей кровью. Да, кровью, сухой вольной полынью и терпким потом неведомых степных людей, привыкших выращивать и выхаживать свой скот в бесконечных трудах и заботах — там, за дальними холмами, убегающими под кромку небес.

Долетают до старого Жореса слухи о том, что разбойничают молодые безобразники в степи, угоняя коров и лошадей, как в дикие времена. Ворованным кажется старому Жоресу это мясо, вот что! Но внук только смеётся и не отвечает прямо на вопросы старика.

— Где брал? — переспрашивает он, скаля острые зубы. — Везде брал!.. Ладно, ладно, пошутил я: купил тебе, ешь...

Крутит при этом бандит своей крупной и тёмной, как чугуна, башкой, прислушивается: тут ли муж хорошенькой белокожей соседки. И зря думает он, что дед плохо слышит, когда подхватывается этот старший его внук, складывает бесшумно свой нож-рамку и устремляется в коридор, на шум топчущих женских шагов.

* * *

Совсем не гасит время былого. Витают, кружат, будто мухи, в спящем тёмном бараке назойливые слова бандита, подбирающегося к белокожей мо-

лодце — к той, у которой лицо, и плечи, и колени словно намазаны сметаной: так сияют они бледностью и чистотой.

— Деньги надо? — задыхается, шепчет его старший внук в коридорном полумраке прошлого. — Бери, когда захочешь. У меня на кармане всегда они есть для тебя. Все бабы деньги любят. Сколько надо? Проси! Много проси. Не стесняйся...

Отбивается белокожая молодлица, и сердится, и ругается тяжёлыми мужскими словами через силу, будто ворочает в одиночку корявые каменные глыбы, воздвигая преграду перед собою. Кричит она бандиту про своего ребёнка, которого надо кормить грудью, про мужа, который вот-вот вернётся домой, и тем пуще злит безобразника.

— Почему такая грубая? — вкрадчиво шепчет внук-бандит в коридоре. — Ай, как не хорошо ругаться красивой женщине... Нервничаешь, да? Зачем столько стираешь? Семья твоя не стоит одного моего плевка. Зачем работаешь на них? На мужа, сына? Руки у тебя жёсткие сделались, как у старухи. Тыфу! Пальцы стали сухие, как прутья. Он что, твой ребёнок, божок, что ли, какой-то? Если это маленький бог, то ему надо на небо. Вон туда!.. Так ведь у вас положено, по вашему закону?

И ещё говорит, смеясь, внук почтенного:

— Ладно, не бойся меня, живи пока. И твой муж, белобрый заяц, пускай поживёт ещё немного. Фамилия у него Бирюков, но он никакой не волк — только заяц с дрожащим коротким хвостом! А когда старую урановую шахту возьмёт мой хозяин, пойдёшь туда со своим русаком зарабатывать деньги, если мои тебе не нужны. В долгах запутается твой заяц Бирюков до самых ушей, отвечаю! В тюрьме окажется! Наши люди везде! Напишут счета, по которым вам не расплатиться. Посадят они, кого надо и когда надо... Стой, не торопись! Все знают: твой белобрый зайчишка-русак с волчьей фамилией разводит спирт розовой марганцовочной водой в детском корыте. А когда коричневый осадок уляжется на дно, разливает свою палёную водку в бутылки, собранные на свалке. За такую торговлю по вашему многобожному закону положено ему в ад, в урановый ад! Правильный закон. Туда он и пойдёт, белобрый... Но твой маленький божок ещё не нагрешил. Пускай он летит в рай! Не задерживается здесь, на нашей земле. Она теперь наша, только наша, слыхала? Мой брат-наркоман скоро поможет ему взлететь туда... Опять ругаешься плохими словами? Никуда не денешься, сговорчивая станешь. Знаешь сама: между адом и раем твоё место. А здесь самый сильный — я. Сильней меня один только мой хозяин, Рыжий Рубин, слыхала?.. После себя, правда, я обещал передать тебя своему брату, но точного решения ещё не принял... Ну, хорошо, хорошо! Иди! Расти своего выродка, пока он не улетел. Пока не упорхнул с земли, от тебя... Грудь только зря портишь, кормишь напрасно его, волчонка... Ладно. Я добрый, разрешаю... Покладистая будешь, вежливая будешь, хорошая со мной, тогда, может, и усыновлю маленького твоего Бирюкова. А нет — сама знаешь..."

Все эти старые, назойливые слова бандита никак не выветриваются из барака — чёрные, как мухи, они роятся здесь, рядом с дремлющим стариком, копят день ото дня. Старые мухи-слова мечутся из угла в угол. И белая бабочка дрёмы боится их, пропадает куда-то...

* * *

Снежная позёмка змеится за стенами барака. Вьющиеся языки её лизжут в темноте постаревшую от стужи землю. Зачем старому Жоресу, прихрамывая, подходить к окну барака и всматриваться в черноту ночи, держась за поясницу? Он и без того знает, что поздняя облезлая осень бежит стремглав из Столбцов на юг, будто паршивая кошка. Да, будто паршивая бездомная кошка, которая пробралась в чужой двор и похозяйничала немного украдкой. А из России накатывает быстрые волны собачьей стужи молодая бледная зима. И сквозь старческую расслабленность чует почтенный: вершится сей час и миг в природе таинство перемены.

Хорошо, что не ночует нынче в бараке, на мягкой подстилке, его постылый внук, храпящий в темноте, будто взнузданный жеребец. Схватил, сорвал куртку с вешалки и пропал где-то в ночи после того, как огрел его старик своим сучковатым тяжёлым посохом и раз, и другой, и третий. Священная Сура велит побивать каждого прелюбодея сотней ударов, но где взять старому Жоресу столько сил, если от пяти ударов он изнемог совсем и зашатался, и сердце его подкатилось к горлу?

Чужая кровь течёт в жилах его внуков, и старшего, и младшего, — кровь снохи-продавщицы. О, дрянная порода торгашей, будь она неладна! И пусть Жореса расшибёт паралич, а только не нужны они оба здесь! Ни бандит котлоголовый с его тёмными кулаками, ни вялый наркоман, тощий, как оглобля. Пускай живут эти внуки со своей склочной матерью или где ещё...

Неужели не заслужил старик покоя на старости лет? Вот и ворочайся, и вздыхай теперь, и прислушивайся к шорохам во тьме, и слушай слова ублюдка, давно прозвучавшие, но витающие тут. Ничем не вытравить их из барака...

— Покорная станешь! Куда ты денешься? Научишься ноги мне целовать, сивая дрянь. Дрянь, потому что скоро ты будешь делать всё, что тебе прикажу, лишь бы я не тронул твоего слабого волчонка-сосунка... И муж твой ещё живой, пока ты не разозлила меня окончательно. Он живой сегодня, потому что я добрый — сегодня. А завтра другой буду. Какой? Сама увидишь. Завтра.

...Но чу! Дурное вкрадчивое бормотанье сливается с молчаливой тьмою, поглощается, съедается ею. И белая бабочка сна вновь появляется откуда-то. Она опять уводит за собой сознание старика, ничего не проясняя, только запутывая всё нитями белыми, лёгкими. Мельтешит мелкая бабочка перед внутренним взором, вьётся, уводит старика на самую вершину сна, прозрачного, зыбкого. Там, на высоте сна, перехватывает у старика дыханье. Сердце спящего дрожит, будто хвост ничтожной птицы трясогузки — или будто звон самой тонкой на домбре струны, которая никак, никак не лопнет от немислимого своего напряжения.

Давно надо бы старику свалиться с вершины сна вниз, в подземный покой. Безмолвная земля — колыбель стариков, скоро ли примет она Жореса?

* * *

Эта студёная ночь великой перемены, начавшаяся слишком рано — и слишком рано угомонившая всех, уже осыпала колочую крупу с небес. Подхватываемая чёрным ветром, снежная пороша закипала у самой земли, свивалась и вздымалась уже до окон первых этажей, хлётко постукивая в мёртвые стёкла. Однако, улёгшаяся на плоские крыши домов, она не срывалась ни малейшим дуновеньем. И поверху городишко потихоньку укрывался белыми пеленами. Но сверху он не виден был никому из людей, лежащих во тьме, по своим постелям, в клетках остывающих жилищ. И только видны были все квадраты крыш Нюрочке, ищущей своего младенца — и не находящей. Младенца же удалось наконец высвободить слабый локоть из тугих пелёнок. Посасывая большой палец, он прислушивался к тишине и ко снам, витающим в этом мире, притихшем и тёмном.

Сон материнский витал над ним, сообщая младенцу тревогу привычную, но спасительную — отгоняющую далеко в коридор всё самое страшное, кошмарное, огромное. Отцовского же сна не было в мире этой тёмной ночью. И потому в комнате двигались холодные пустые смелые тени, жавшиеся обычно по углам. Они, боящиеся только мужского широкого дыханья, маячили теперь совсем рядом с младенцем. Но материнская слепая тревога была такой сильной, что тени всё же не приближались вплотную к поскрипывающей коляске, только охладили младенца тоской. От перемещения осмелевших теней долетало дуновенье слабое, ускользающее...

Зато в соседней комнате барака стремительно расцветал сон радостный и странный. И хорошо, что он разворачивался там, за стеною, потому что всё слишком яркое и слишком резкое пугало Саню ещё больше, чем пугают детей холодные пустые безмолвные тени, которые смеются и приближаются к младенцам ночами, когда рядом нет отцов.

* * *

Самый счастливый сон в Столбцах снился в это время бывшей учительнице Сталине Тарасовне, или по-теперешнему — Тарасевне, морщинистой и шустрой. Даже под тяжёлым одеялом она спала в позе бегущей стремглав старухи — выбросив руки вперёд, к желанной цели, и широко улыбаясь во тьме беззубым ртом: Тарасевне снилось, что её убили.

Всего неделю назад ей удалось устроиться сторожем на автозаправку — дежурить через двое суток на третьи. И она тогда ещё сразу всё сообразила и прикинула: теперь хорошо бы ей помереть на новой этой службе, и лучше всего — от бандитского мгновенного выстрела. Тут тебе и смерть лёгкая, и похороны за счёт производства! А замужней дочери её Галине — пригожей фельдшернице, живущей на другом конце города, уж не придётся ухаживать за нею, хворающей какой-нибудь вонючей старушечьей бесконечной болезнью. И главное — искать деньги на Тарасевнины похороны не надо будет уж никому!

Сослуживцы дочери сами получали зарплаты крошечные, нищенские и не часто. А зять Тарасевны был всего-навсего безработный инженер Кореvко из давно прикрытого научно-исследовательского института. Сбегает Тарасевна к дочери в гости — и разругается из-за него со всеми. Прикрикнет на Кореvку, подтирающего пол или моющего посуду:

— Что же ты несподручный какой, что и в грузчики тебя не берут? Эх, инженер! В неурочный час ты, видно, заделанный!

Тот скажет ей сущую ерунду, не прерывая домашней своей работы:

— Нынче вокзальная бригада не подпустила чужих к своему заработку. Зато я шашлычнику гору лука начистил. Он майонезом расплатился, мама...

Нацепит Тарасевна тусклые очки в коричневой тонкой оправе, треснувшей на переносице от решения особо трудной задачи по физике. Не поленился — глянет: так и есть. Майонез просроченный. Как сама её жизнь.

— Прогорк! Ой, прогорк... И дочки у вас нарядов не видали! И чай вы без заварки пьёте. Угостили мать-старуху голым кипятком, уважили!

А пригожая Галя её сведёт рисованные брови к переносице и перестанет распускать на нитки старую кофту. Бросит клубок на пол, словно мячик в детстве своём. Гладкое лицо её потемнеет, набрякнет обидой, как туча, готовая пролиться:

— Девочки опрятные ходят. Ну, что нам теперь, в петлю лезть?

После таких слов Тарасевна очки надтреснутые решительно поправляет — и кричит уж надтреснутым тонким голосом, с напевным жалобным подвыванием:

— Разве же я для постной жизни тебя, сдобную, нежную, учила-растила? Чтобы ты на всю семью одна зарабатывала, как вдовая страхолудина, которая с детьми на руках осталась, ненужная никому? Я же для тебя работала в две смены и, кроме физики, ещё начальные классы прихватывала себе! Наживала варикоз, с утра до ночи на ногах, пока ты дома вышивала на пяльцах сирень, жасмин и чайную розу нитками мулине, шёлковыми, мной купленными... И когда анатомию ты учила, то белыми пальчиками только странички переворачивала страшные, со скелетами, да карамельки посасывала разные, на выбор. А кто тебе стирал и гладил? Кто готовил? Не я ли? Для твоего счастья, Галина... А как я учеников муштровала? Мой троечник за пятёрочника в институт принимался!.. И политинформации проводила я — стоя, тридцать лет кряду: авторитет свой укрепляла в школе, для надёжности, чтоб двух ставок, двух зарплат меня не лишили. Всё — ради дочери единственной... И где оно теперь, твоё счастье? Мой варикоз — он весь при мне. А счастье — где твоё? Где?!

Подбоченится бывало Тарасевна, поглядывая в сторону зятя, окаменевшего над раковиной, а услышит от дочери усталое, равнодушное:

— Живём, как можем. Зачем же нас корить нуждой всякий раз? Разве мы у тебя хоть раз что-нибудь попросили?

— Не попросили они! А для кого я живу?! — топнет от негодования Тарасевна раз и другой. — Для себя?! Я хочу, чтоб у детей ваших судьба была!.. Он почему семью в Россию до сих пор не вывез? Отвечай матери! Столько у него там знакомых профессоров, учёных академиков! И все его хвалили! “Золотая голова, золотая голова”! А что же он никому не нужен оказался? Что же выбраться отсюда никто ему, хорошему мужу твоему, не помог? Тебя спрашиваю: мы почему застряли здесь, где азиатское всё теперь стало? На веки вечные, не в своей уж стране, приживальцами сделались — так, что ли?

Но только связывает Галя нитки узелками, рвущуюся старую пряжу готовит для вязания:

— Те учёные, мама, в России сами без работы, на хлебе и воде сидят. Себе помочь не могут. За что мне его ругать?

— Мужа ей жалко! Ну, раз не хочешь ты его тормозить, орясину, давайте все впятером пропадать пропадом здесь, в Столбцах! Вторым сортом жить, к чёрной работе привыкать. Только пускай первым он к ней сначала привыкнет! Глава! Он!..

* * *

Нарушившись до звона в ушах, прибежала Тарасевна к себе, приговаривая суматошно: “Чужбина здесь стала! Чужбина!..” Скидывала пальто и шалёнку, надевала поскорее толстый свой чепец. Был он коричневый, в белый мелкий горох, — навроде чепчика детского, только большой и стёганый, на вате, чтоб голова не зябла. Туго завязывала Тарасевна байковые тесёмки под вислыми щеками, становясь похожей то ли на старого лётчика, то ли на морщинистого танкиста, и сразу бралась за дело. Из старых учительских юбок — серых, сизых, дымчатых — шила внучкам платища. Строчила с большою скоростью на старой ножной машинке, стучащей свирепо, как пулемёт. И горевала, притомившись, и шмыгала носом слезливо, и утиралась отрезанным лоскутком, прихваченным с пола: случись чего, належится она, не погребённая старушица, у себя в бараке! На гроб денег не собрать... Пока найдут Коровки, что продать, да пока найдут, кому продать — столько времени пройдёт, что иссохнет учительское бедное тело её до неузнаваемости.

Нет, разорила бы тогда Тарасевна всех близких естественной своей кончиной. И, дожидаясь положенного погребения, закаменела бы тут, в бараке, как распоследняя египетская мумия. А теперь выгода получалась преогромная, со всех сторон: и заработок её к дочкиным копейкам прибавлялся, и будущее открывалось замечательное: автозаправку грабили часто.

Похороны потом устраивали очень хорошие — без оркестра, но с поминками в полуподвальной столовой. Кормили вернувшихся с кладбища винегретом, лапшой на постном масле и жареным палтусом или хеком: всё — за счёт производства. И по стопочке даже наливали каждому, всё ещё живому, сослуживцу, не говоря уж о рюмке, накрытой хлебушком, поставленной ещё одной душе, выбывшей только что благопристойно из трудового коллектива... Благопристойно, непостыдно...

Тарасевну как раз и взяли в сторожа вместо убитого старичка, тоже устроившегося туда недавно по большому блату.

* * *

Счастье пришло, откуда не ждали. Вспомнил про беспощадную Сталину Тарасовну самый бестолковый её ученик из начальных классов, сделавшийся вдруг самым важным местным депутатом! Похлопотал... И знай она про такое благодеяние наперёд, ни одной сердитой красной записи в дневник Та-

расевна ему бы в своё время не внесла. И не кричала бы на него, размахивая деревянной указкой:

— Если у вас в семье не говорят на русском, читай больше! Учи русский язык, лодырь! Как ты без него жить думаешь?! На обочине жизни остаться хочешь?! Предупреждаю: не возмёмся за ум — закончишь ты свою жизнь в сторожах!..

Как же виновата она перед балбесом-то этим, перед благодетелем нынешним! А он, особенно часто ругаемый Тарасевной за полное неумение ставить знаки препинания, начал с того, что устранил имена Пушкина и Достоевского из названий всех школ и улиц в Столбцах и уже готов был сместить самого редактора местной газеты, требуя, чтобы называлась она отныне грозно и непримиримо: “Золотая орда”... Однако “чемодан, вокзал, Россия” никогда с трибуны старожилам Столбцов депутат не говорил: хорошее обучение сказывалось всё же. И ещё целый набор передников подарил Тарасевне — синих, цвета школьных тех тетрадей, в которые ставила она ему двойки, двойки, двойки. И на каждом переднике, посередине, красуется огромный полукруглый белый карман. А на кармане — большущий знак препинания. Красный, ворсистый — словно плюшевый, только пожиже...

Благодарная Тарасевна, кособочась от виноватости, уже появлялась в общем коридоре и с огромной запятой на животе, и с двоеточием выходила, и с подаренными кавычками прохаживалась. И всё местное высокое начальство расхвалила она перед озадаченными соседями трижды или даже четырёхжды:

— Вы подумайте: разве тут — как на Кавказе? — разводила руками Тарасевна. — Нет, в Столбцах русским животы не испарывают! Ценить надо, что ещё не трогают нас и жить нам дают. Сдерживают власти большую резню, который год сдерживают! В ноги мы им, властям, за это должны кланяться, вот что!..

А знак восклицательный Тарасевна бережёт для особого, праздничного случая. Но он пока не наступает.

* * *

...Во сне же, этой ночью, старая учительница рада-радехонька была, что грабитель заявился на автозаправку не с тяжёлой кувалдой и не с грязной монтировкой, а с благородным пистолетом, отливающим чистой нержавеющейкой. И застрелил её совсем не больно, как она того и хотела. И выстрел прозвучал такой тихий, такой задушевный — пу! И всё... Только вот мёртвой лежать Тарасевне немножко неудобно. А позу менять уже поздно. И она всё же постанывала во сне, хотя ей теперь, мёртвой, этого не полагалось.

— Бабуля, бабулечка, что ты?

— А?! Кто здесь?! — внезапно ожила Тарасевна — и растерялась. — Где я?.. Холод какой. Темень везде...

— Тебя крестным знаменем ограждать? Давай, бабуля, огражу. С четырёх сторон.

Вглядываясь в чёрное окно с оторопью, Тарасевна рывком ослабляет тесёмки байкового чепца и вспоминает, наконец, что у неё ночует внучка — отличница, былинка, помощница заботливая, старшенькая. Тарасевна сама же её из церковной воскресной школы забирала!

— Как ты меня оградишь, Полина, если я всю жизнь детей учила тому, что Бога...

Тарасевна собралась было заплакать — тоненько, отдохновенно, — но озаботилась прежде слёз:

— Не стой на полу! Вон как от окна холодом тянет и снегом пахнет. Стужа большая идёт! Ложись... Я что же, кричала? Или храпела?.. Вхрапнула, видно...

— Нет, — Полина вернулась на скрипучий диван, она возилась во тьме, укрываясь. — Нет. Ты только мычала сильно. Вот так: “м-м-ма, м-м-ма, ма-ма...”

— А-а. Ну и ладно. Матушку покойную звала... Это я чепец туто завязала, шею себе сдавила, поэтому. Спи, милая, — вздыхает Тарасевна, неубитая и разочарованная оттого. — Хоть бы к утру свет дали. А то и плитку не включить. Вот умные люди давно себе буржуйки в квартирах поставили, у кого в семье мужики есть! А у нас — всё не как у людей...

Укладываясь удобней, она меняет позу стремительно бегущей старухи, прорвавшейся наконец-то к своему главному в жизни, заветному счастью, на позу старухи скукоженной и покорной всем, всем жизненным обстоятельствам.

— Спи, — бормочет Тарасевна, печально ощущывая языком пеньки разрушенных зубов. — Ничего не поделаешь, пожить придётся. Хорошо бы — до полочки, а потом и к матушке можно. Износилась я вся. Пора... Мне бы только не сплеховать: главное, чтоб не дома!.. А если дома брякнушь, как дурочка, то и не оплатят ничего... Надо, чтоб — на производстве...

— Бабуль, ты про что?

— Да так это я, — позёвывает старуха. — Про чинный конец. Про благородный. Ты не поймёшь пока.

— Мне для этого до твоих лет надо дожить?

— Ох, надо, Полина! При советской власти ты бы дожила, а теперь — даже не знаю... Молись! У нас Бога не было, а у вас Он есть. Может, пожалеет.

— Я молось, — отвечала девочка смущённо. — За всех людей. За тебя тоже. За рабу Божию Сталину...

— А за меня зачем?! — пугается Тарасевна — и крестится неумело со страха. — Намолишь мне сто лет жизни, я их разве осилю?.. За мать молись, за сестру, за себя. А за меня — брось. Не смей! Слышишь?.. И за Коровку, за отца своего, не больно-то старайся. Разве что в последнюю очередь. В распоследнюю даже.

* * *

Старуха ещё долго ворчала, прислушиваясь к тихому, осторожному дыханию внучки, и всё не могла остановиться.

— В молитвах тоже, наверно, порядок должен быть, — рассуждала она, подтягивая ватное одеяло и подтыкая его под себя с разных сторон. — А без разбора поклоны класть — разве можно? Вот был бы твой отец... сантехник! Они всегда при деле, при заработке. За сантехника чего же не помолиться? За шофёра — тоже можно. А за тех, у кого одни открытия на уме... Да пёс с ними, с дармоедами! Перебьются. Они денег-то не заработали, учёные эти, а молитв дочерних — уж и подавно. Не заслужили!.. Пустобрёхи. Тьфу на них...

Собой же Тарасевна и сейчас очень довольна: живётся ей хлопотно, зябко, знобко, но выгодно чрезвычайно. Тело у неё усохшее, лёгкое, волосёнки на макушке, под чепцом, совсем редкие, мыльца при мытье на Тарасевну уходит самая малость. И чай она беречь умеет. Выплёскивает сшитую заварку в трёхлитровую банку на окне, одну щепотку сахара добавляет — для пропитания чайного гриба, разросшегося на дне, вот и квас дешёвый у неё под чёрной тряпкой вызревает... Гриб противный, конечно, осклизлый весь, а квас — приятный, ничего. Не затратный, главное...

И пищи Тарасевне требуется не больше, чем кошке. Однако ж и суетится она, и пользу всем, всем приносит... А как вспомнит она про рослого безработного своего зятя, да как представит всё его обширное нутро, требующее каждодневного питания! Стоит он, Коровко, пред мысленным её взором, будто картинка из учебника анатомии, в разрезе: это сколько же всего надо купить в продуктовом магазине, чтобы заполнить такой никчёмный агрегат! Сколько всего надо кинуть в эту топку для внутреннего сгорания, чтобы Коровко задвигал ручищами своими и ножищами! Страшно подумать...

И вот он двигает своими ручищами, которые не из того места растут, и ножищи переставляет, а тепло его человеческое расходуется впустую: на

никому не нужные формулы. Бестолковая утечка тепла в окружающее пространство происходит!..

И площадь тела у зятя преогромная. Таковую малой одеждой не прикроешь, а расход моющих средств какой?.. На одну только его гриву шампуня не напасёшься. Ну, хоть бы стригся наголо, что ли! Нет, никак не соглашается. “Мне нейдёт!”

Ворочается Тарасевна от досады: какие же есть на свете неэкономичные люди! Хоть плачь...

— Бабуль! Уснуть не можешь?.. Тебе, наверно, хорошее стихотворение послушать хочется?

— А? Ну да... Хочется, спасу нет, — разворачивается Тарасевна на бок, лицом к стенке. — Давай, Полина. Рассказывай. Ничего тут, видно, не поделаешь...

* * *

— “Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, — звенит в холодной тьме голосок трепетный, светлый. — Торопливо не свивает долговечного гнезда...”

— Ох!.. Не свивает, — бормочет в стенку Тарасевна, сокрушаясь. — Разве только мусорное ведро вынесет. После пятого напоминания.

Нет, в пору повсеместной разрухи зять, конечно, требуется другой: крошечный какой-нибудь, прыткий, ловкий как блоха. Пускай бы и кусачий: ничего. Пускай бы и жуликоватый, лишь бы добытчик он был неуёмный! Что делать, если время такое невозможное настало... А с этим, переученным, разве теперь проживёшь? Разве девчонок в дело выведешь? Нет! Не выведешь: и не на что — и некуда их везти; застряли.

— “...Солнце красное взойдёт, — старательно выговаривает в глухой ночи Полина, — птичка гласу Бога внемлет, встрепенётся и поёт...”

— Вот именно, поёт... Хорошо, хоть не пьёт.

— А ты, бабуля, хотела бы жить, как птичка Божия?

— Я?! — теряется Тарасевна, оборачиваясь. — Ох, Полина, я так и не сумею, наверно... Недостаток у меня есть! Один только он у меня, конечно. Но очень уж крупный! Здоровенный, как башкирская картошка... Противный это недостаток, Полина: мне людей до смерти жалко! Заступаюсь за всех невпопад... Нет, встряну я со своей помощью, где меня и не просит никто... Чтобы петь спокойно, отвернуться ото всех надо! Не получится у меня так, детонька. Сердце не вытерпит. Оно старое стало, как тряпочка ситцевая, изношенная. Разорвётся от жалости к кому-нибудь. Лопнет сразу, вот и будет вся моя птичья песня... Ну, ты читай, читай дальше. Я слушаю.

* * *

Медлительный зять уходит каждый день в просторных резиновых сапогах, в сером куцем плаще, искать работу. Но не находит он ровным счётом ничего, кроме усталости и раздражения — нервного и кожного: портянки из дырявых кухонных полотенец сползают у него от долгой ходьбы, и резина натирает пятку на одной ноге, а на другой набивает мозоль на мизинце. Лезет Коревко своей лапой в домашнюю картонную аптечку, выжимает из тюбика всю мазь, тратит нещадно хорошее лекарство на свои бесполезные конечности... Но даже холодные эти сапоги не доставляют ему неудобства, когда устремляется он к барачной котельной, будто пегух к просу. А вход в котельную — от окошка Тарасевны как раз наискосок. Шторку подними, банку с чайным грибом отодвинь — и видать: он! Бежит по степи, вытаращив учёные свои зенки, красные от недосыпания. Значит, расчёты бесполезные ночью делал, бездельник. Опять формул тетрадку полную навалал. А как дальше жить — на миг не призадумался.

Зять мчится сюда через весь город и через дикий пустырь, чтобы пожить барином возле огромной печи с истопником Василием Амнистиеви-

чем, пить, обжигаясь, лагерный чифирь из алюминиевых кружек и неторопливо рассуждать о древнегреческой какой-нибудь белиберде: вот, мол, Земля породила Уран плодovitый, то есть — Небо. А Небо, точно, будет убито Землёю, если только осуществит свою гнусную научную разработку некий фанатик, скрывающийся в Штатах: этот учёный подлец уже замыслил ядерную бомбардировку Солнца.

Василий Амнистиевич поглаживает седую бороду с важностью: да, картина апокалипсиса весьма на то похожа. Именно — на последствия ядерного взрыва, поражающего Солнце.

— Достаточно будет единичного заряда, — опускает он коричневый обломок от прессованной плитки вьетнамского чая в помятую кружку, — ибо цепная реакция... Цепная реакция на Солнце опередит все последующие удары.

Коревко же потирает от волнения безработные свои руки:

— Спрашивается: как этому противодействовать? Тут возможны любопытные варианты.

— Да. Наука без благородства — зло! — усаживается на табурет истопник. — Политика без благородства — зло! Богатство без благородства... Впрочем, богатство всегда без... Иначе оно не накапливается, а расточается неизбежно на нужды окружающих... М-да!

* * *

Суетясь, Коревко выкладывает на металлический стол кипу бумажек в клетку, исписанных формулами. Василий Амнистиевич достаёт из брезентовой сумки свои прокопчённые, захватанные пальцами, записные книжки. И они, склонив головы, оба тычут пальцами в знаки и синусоиды:

— Если на определённом этапе применить электромагнитное воздействие... Вот, Василий Анисимович: здесь спонтанное деление ядер урана...

— На два осколка... Погодите! А в прошлый раз мы на чём остановились?

— На том, что нет никаких неизменных атомов Демокрита — кирпичиков Вселенной! Все элементарные частицы превращаются одна в другую.

— Ну да, если Вселенная бесконечна, то бесконечна она во всех направлениях: нет пределов в сторону возрастания величин, значит, и пределов дробления мельчайших частиц так же нет. И тут мы немного замешкались, помнится, на нейтрино...

— Именно! На нейтрино, которые кажутся, лишь кажутся, бессмертными.

— Вот-вот, из-за слабого взаимодействия с другими частицами... Так, и что же у нас теперь получается? Понятно... Понятно... Но позвольте, любезный мой друг! Мюоны не могут рождаться дальше считанных миллиметров от оси пучка.

— Нет! Мюоны должны расплодиться! — торжественно провозглашает Коревко. — И даже в нескольких сантиметрах от оси вот что мы будем наблюдать!

— Увы. Будем наблюдать то, что не имеем возможности подтвердить опытным путём...

Однако беспокойная Тарасевна давно уже подглядывает в дверную щель, подслушивает всё это в дырявых сенцах, перетаптываясь в войлочных своих ботах на резиновом ходу и не решаясь войти сразу. Тянет из котельной слабым угарным теплом. И чувствует она, как зря, попусту свищет мимо неё время. Уходит оно без всякого толка, утекает сквозь прорехи меж сенных досок, исчезает в холодном пространстве. И больно ей оттого, что пользы оно слабеющей семье — не приносит: пустое время летит в безбрежную пустоту! В плюс-минус бесконечность...

* * *

— ...Василь Амнистиевич! Ты что же нашего-то привечаешь и не гонишь, дармоеда? У него семья концы с концами не сводит, — врывается она

в прокопчённую каморку с низким кривым окошком, выходящим на гору шлака и сизой золы во дворе. — Ты подумай! Собирался на вокзал, челнокам сумки таскать, а сам... Пускай домой идёт! Хоть ужин семье сварит!.. А ну, вставай! Совесть у тебя есть или нет?..

Коревко поднимается сразу же, сгребает бумаги со стола гигантской своей пятернёю и шапку, связанную Галей из чёрных чулочных ниток, натягивает до носа.

— Я сюда в напарники устроиться хочу, что вы преследуете нас, мама? Вдруг ещё одну ставку истопника выделяют, — хмуро оправдывается он, однако продвигается к выходу поспешно. — Мы как раз вместе усовершенствовали бы процесс выщелачивания урановой руды. Если его вести без продувки кислородом... Ладно, молчу!.. И тем не менее, сухой фтористый водород, мама... Ушёл! Всё! Ушёл!..

Но таких речей оставить без ответа Тарасевна никак не может, потому что в печёнках они у неё давно сидят.

— Какой теперь уран?! — стремглав мчит она на улицу, следом за Коревкой, ускоряющим огромные свои шажищи. — Протри глаза! Там узкоколейку давно разобрали барыги! И рельсы сдали на металлолом! Какой уран?!

— Не толкайтесь вы, пожалуйста, люди видят, — вяло уворачивается он, неловкий, от мелких её тычков в спину. — Мы всё построим заново. Создадим новую космонавтику!.. Оставьте меня!.. Мы так усилим пробивную мощь боезарядов, что никакая броня агрессора... Как только воссоединимся... Идите к себе! Вы же в смешном головном уборе выскочили!.. Наше будущее потребует от нас большого вклада знаний!.. Учительница, а бегаете у всех на виду, как чумичка. Хоть бы шалью прикрылись, что ли...

— Это ты к себе топай, в плащике-то бродяжьем своём! Нету давно никакой общей страны и не будет уже никогда. Разорвали её номенклатурные выродки, поделили меж собой. И своей доли никто теперь в общий котёл не вернёт. Лучше бы думал, как с ними, с выродками, поладить! Как им угодить!.. — едва поспевая за Коревкой, тихо кричит разгневанная Тарасевна, и подпрыгивает, подпрыгивает на бегу, чтобы стукнуть его в спину как можно больнее острым, злым кулаком. — Эх ты. Ротозей ты, патриот! Патриот, сволочь, измучил! Всю семью нуждой извёл, заморил... Душит вас жизнь, патриотов, душит, никак не передушит...

* * *

Нарочно не выбирает Тарасевна слов, а говорит всю чистую правду. И обижает она Коревку с дальним педагогическим прицелом: в разум, глядишь, войдёт от обиды... Ан нет! Оборачивается, отбивается зять, машет рукавами выгоревшего плаща, как пустопорожняя мельница:

— Всё восстановим! И вот тогда вы, мама, по-другому заговорите... Походите! Могущество нашей державы рано или поздно начнёт подниматься из руин, ибо у мировой цивилизации нет иного пути развития, как только идти за нами, по пути социализма! И планового ведения народного хозяйства... Да не гонитесь вы! У вас же астма...

— Где ты её видишь, державу?! Куда дальше годить?! Детей твоих кто кормить будет?! Амнистиевичу какая-никакая, а зарплата начисляется, хоть и на бумаге. И от разговоров ваших ущерба ему нет! А у тебя в делах вечный простой!..

— Я шторы с утра стирал!.. И понял, кстати: чтобы получать металлический уран из тетрафторида...

— Чихала я на твой водород! — рассвирепев, снова бьёт его Тарасевна маленьким своим кулаком в серый плащ, меж лопаток. — На тетрафторид — плевала! А на четвёртый фтор — в особенности: харкала, харкала, тьфу! И про космос ничего мне больше не говори! Никогда! Оккупировали твою науку... Высоко мы летали, да низко пали. Американцы в самом Курчатове нынче стоят! В "Надежде" засекреченной они — хозяйева! И Семипа-

латинский полигон весь — их... Мы думаем, он работу простую, для жизни сытой, ищет, а он опять около печки умничает, как не уволенный! Ошивается, где ни попадя...

В общем, надежды на зятя не осталось никакой... То он степень свою защищал, ездил и ездил от семьи, пока границ не было. Потом дома бумагу без толку марал. Школьные тетрадки у детей перетаскал, их шариковые ручки исписал без счёта, последнюю точилку для карандашей вчера сломал! А теперь наладился такие речи вести, будто не Тарасевна в школе проводила свои политинформации из года в год, а он, который и газет-то советских никогда не читал...

Ох. Пустой человек оказался. И не кормилец, и не поилец. Одно слово: Коровко!

— ...Ну, что же ты замолчала, Полина? Слова забыла?

— Нет. Я до конца давно дошла. “В тёплый край, за синее море улетаёт до весны”.

— Вот-вот. А нам и лететь некуда, — вздыхает Тарасевна под одеялом. — Спи... Никто из нас добром отсюда не выберется! Никто. Никогда. Спи... Застрелили мы. Ни дома, ни в гостях...

* * *

Душа Нюрочки теперь далеко от барака. Она мается — от вида степной бесконечной тьмы, темнее которой — только провалы шахт и покинутых карьеров. И мается от широкого, сильного дыхания прошлого — и слабых дуновений будущего. От равнодушия Азии — и от презренья Москвы к соплеменникам, оставленным на милость Азии. Горько, горько Нюрочке, спящей под могильными венками, понимать, что Родина отказалась от них, будто в чём-то они были виноваты перед нею. И вот своя земля стала для них чужбиной. И эта чужбина вынуждена терпеть их присутствие здесь...

“Ещё не рождённого Россия тебя отвергла, Саня. Какую такую опасность ты представлял для неё? И какую опасность представляли мы с Ивановом, если нас только в списки внесли там, на Красных воротах, и ничего не пообещали, даже комнаты в общежитии?.. Никому из нас, Саня, не забыть километровых тех очередей, в которых беженцами признавались все, кроме русских... Мы, Саня, русские, а значит, не нужные никому, нигде... Целые баррикады спешных законов были выдвинуты против нас с тобою, Саня, чтобы назвать нас чужими для России”.

В продуктовом прокуренном магазине, где собирается к вечеру никуда не спешащий народ, говорят, что так нужно было зачем-то пьющему человеку, который влез однажды в Москве на танк и взмахом руки расчленил единый народный организм на беспомощные, кровоточащие обрубки. В Столбцах его называют лишь по кличке — Беспалым, как избегают напрямую именовать нечистую силу или лютого зверя, имеющего мистическую злую власть над людьми. Предшественника его, сокрушившего Берлинскую далёкую стену, ругают в магазине Иудею Меченым. А этого, воздвигшего пятнадцать стен меж своими людьми, — Беспалым, а то и вовсе — никак.

— Хорошо в волейболе кручёные удары брал, — переговариваются в очереди за хлебом инженеры, давно потерявшие работу. — В команде нашей. Помнишь?

— В студенческой... Помню. Как мы ему хлопали. На стадионе. Ладони отбивали... Тогда ещё у нас было будущее. У всех...

И холодны их тусклые взгляды, как у живущих после смерти, и одежда их стара и невзрачна.

— Как же... Игрок! Был и остался. Знать бы тогда наперёд...

— И что? Застрелил бы?

— Мне две буханки... Нет, больше ничего... Всё, только хлеб...

На низком бетонном подоконнике сидят безучастные старики с детскими глазами и дети с глазами стариков. Двигается очередь вдоль старого прилавка ни шатко, ни валко: кончилось время спешки и дел. Пустота впереди, тоска, скука.

— Да... Добрый поп его крестил. Жалко, что не утопил... Утопил бы, звезду Героя Советского Союза заслужил. Никак не меньше.

— Не в нём дело. Подгнила система с верхушки, вот и вытащила снизу того, который гнили был надобен...

— Тоши их, не тоши, стреляй, не стреляй... Система породила бы ещё одного такого же игрока. — Тусклый идёт разговор, привычный. — Другие уже ей не нужны были... Хлеб! Мне тоже две... Больше ничего.

— ...И кинул Беспалый на игральный стол страну, Советский Союз. И выиграл...

— С большой дури. Мошенникам на радость...

И вот стали они людьми без Родины.

* * *

Подолгу не расходятся безработные с магазинного крыльца, хотя и говорить уже не о чем. Толпятся в глухих сумерках. Пропускают, посторонившись, женщин с кошёлками, купивших спичек, мыла, хлеба, соли. Но и те останавливаются здесь в рассеянности и печали. Зябнет на ветру обтрёпанный люд, глядит через тракт, в сторону автобусной мёртвой остановки, сооружённой из чугунной тюремной решётки: за нею — Россия...

За тою бесконечной придорожной решёткой — тёмная канава с голыми кустами перекасти-поля, и пустая неприветливая степь, а дальше, много дальше, невидимая отсюда граница, нелепая, ненавистная. Которую пересечь вовремя не удалось почти никому...

Замысел установивших мрачное это никчёмное сооружение не понятен жителям Столбцов. Здесь останавливается один лишь старый "ПАЗ" без пассажиров, ползущий к вокзалу и обратно по средам. А решётка, никого не спасавшая от ветра и дождя, разрослась, будто сама собою. Для пустого ли отчёта властей о благоустройстве города? Или для воплощения будущего неведомого проекта?

Так или иначе, а напротив решётчатой, вечно пустой остановки, на углу хлебного магазина, появился даже круглосуточный милицейский пост. И она с недавних пор стоит в степи под приглядом человека со свистком — нераспиленной, нерасхищенной, лишь удлиняющейся неприметно.

— Нам уже и ехать не на что, — скапливается народ под магазинным козырьком, прибывает, перетаптывается.

— Границ нет для богатых. Всё для них разомкнуто...

— Они везде, мы — нигде...

Треплет вольный ветер полы поношенной одежды, летит вольный ветер сквозь чугунную решётку в сторону России, и нет ему в том преграды. А людским взглядам — есть.

— Мы уже съездили, чуть живы остались... Последнего лишили. Назидались: хватит.

— Нечего было туда с рублишками соваться. Не наворовал миллионы — тут сиди. За рубежом.

— За рубежом...

* * *

Как и после чего наступает странное это затишье у магазина — не уловить, не постичь. Люди замирают внезапно — и становятся в сумерках недвижимыми, как тени. Темнеющее время размывает их очертания, стирает лица, позы, краски, возраст. И стоящие на ветру словно растворяются, сливаются с низким небом, с холодным дыханием безбрежной вечной степи, впадающей в ночь, как в обморок. И уже не различить, есть ли тут кто живой... Но трогается толпа — вдруг, без возгласа, без призыва. Молча движется, шурша сумками, пакетами, свёртками. Через разбитый широкий тракт. К остановке в степи.

Бежит толпа. И вот уже десятки рук, мужских, женских, детских, ухватившись за чугунные ребристые прутья, раскачивают решётку по всей длине — упрямо, неистово, молча... До тех пор, пока, заскрипев, заскрежетав, покачнулись, не опрокидывается она в канаву, с грохотом, вся как есть.

...Равнодушно смотрит издали милиционер во тьму, на бессмысленное это, бесполезное действие, угадываемое по чугунному скрипу, скрежету, грохоту. Лишь вздыхает:

— Опять своротили...

Решётчатая остановка завтра будет возвращена на прежнее место. А через неделю-другую так же замолчат угрюмые люди после негромкого разговора меж собою. Уставятся сквозь решётку на невидимую отсюда удалившуюся родину — на отсечённый материк. И потеряют своё обличье во тьме... Опять двинутся безмолвной гурьбой, и побегут вдруг, и вцепятся, и столкнут сообща, в который раз, громоздкое это сооруженье, изготовленное из тюремного ржавого запаса...

Провожает милиционер сочувственным взглядом невнятные тени безмолвных людей, бредущих от канавы порознь к тёмным своим жилищам. И гораздо лучше видит тех, кто проходит рядом с его освещённой будкой — на ходу вытирающих руки от ржавчины о полы невзрачных курток, старых подушало. Пожимает милиционер ватными казёнными плечами, стоя в кругу жёлтого электрического света:

— А толку?.. Далась им эта решётка.

* * *

Иван и Нюрочка на чугунную автостоянку вместе с другими не бросались. Не раскачивали её, не сталкивали. Лишь следили с крыльца в бездействии, когда и как она опрокинется в канаву. Их поступки расходуются теперь по строгой главной необходимости — им надо вырастить Саню...

Они берегут силы для преодоления бед; старых, новых, ведомых, неведомых. Потому проживать каждый новый день им следует в сосредоточенной готовности к худшему: у них — Саня...

Их движения скупы и выверенны; попусту молодые не сделают шага, без крайней нужды не обронят слова — по эту сторону бесконечной тюремной решётки им, людям без родины, надо сберечь Саню...

Только Нюрочке всё равно не разобраться — ищет она ответа и не находит: что же за преступление совершили они, не принятые Россией, отторгнутые, вернувшиеся назад, в Столбцы, ни с чем? Какое?! Должна быть для такого наказания какая-то особая их вина. Где она? В чём?.. В том, что...

Мы — не люди, горюет Нюрочка во сне, ужасаясь внезапному пониманию... Мы — человеческий хлам, живой сор, многомиллионные отбросы, плачущие по всем окраинам бывшего Союза, на бывшей своей земле. Мы — бывшие советские люди. Мы — бывшие люди... Но мы — хлам, который прорастёт...

Саня, тайно и прилежно мы вырастим тебя, мой милый, здесь, в бараке, среди могильных венков, торопится внушить спящая Нюрочка своему младенцу. Но получать образование теперь смогут лишь богатые, Саня. Богатые, а не мы... Тебе придётся заниматься только по старым книгам твоего ссыльного прадеда, учившего уже не студентов в столице, а только местных детей в совхозной саманной школе, из года в год... Много, много таких учёных людей, как он, закопано в здешней степи. Но привезённые ими книги живы. Они залегли на полках, в тумбочках, в шкафах, по степным городкам, посёлкам, огонным участкам. И они — здесь...

В этом бараке с прогнившими полами, Саня, тебе надо будет копить, копить — и никому не показывать прибывающего своего знания. Необходимые книги — вон в тех картонных коробках, перетянутых бельевыми верёвками. Они составлены вдоль стены, до самого потолка, они спрятаны до поры за сплошной ситцевой полинявшей шторой и чужим не видны...

Я прочла их слишком рано и слишком поспешно, оправдывается Нюрочка перед младенцем. Я торопилась прочесть их до твоего рожденья, чтобы

кровь моя влилась потом в твои маленькие вены и артерии, обогащённая важным знанием — да, наскоро обрётённым, да, лихорадочно усвоенным, да, непомерным для меня знанием. С двенадцати и до семнадцати лет, милый Саня, я спала по четыре часа в сутки, и всё равно: утро наступало слишком рано. Но моя кровь уже не была пустой. И ты уже есть на свете...

Пожелтевшие от времени страницы старых наших книг ждут тебя, Саня... Скоро, скоро я покажу тебе большую премудрость, спящую в толстых томах. В одном из них писатель с бороδοю говорил о человеке Неклюдове, в другом писатель без бороды рассказал о человеке Хлудове. Клюд, хлуд — это хлам, Саня. Хлюд, клюд — это сор. Хлам и человеческий сор, предназначенный на выброс... Человек Нехламов позднее был превращён тьмою в человека Хламова, выкинутого со своей земли. Хламовым стал белый генерал, сброшенный в небытие, за море. Он сопротивлялся этому иступлённо, но не правильно, не так, как надо: он сопротивлялся *беспобедно*...

Теперь хлам — это мы с тобой. Новый хлам-хлуд-клюд состоит из миллионов растоптанных судеб... Я много чего покажу и открою тебе, Саня, если только успею. Я должна буду сказать очень многое тебе — и как можно раньше... Но, окрепнув и возмужав, однажды ты потребуешь ответа от них — от всех, кто решает, и решает, и решает, что русские — хлам...

Расти, Саня, тихо, неприметно... Не обнаруживай себя, Саня, до поры. Пусть никто пока не знает, для чего ты пришёл в такой мир — в мир наглых людей без чести и совести. А позже не торопись верить, Саня, тем из них, которые станут называть себя русскими. Не верь им! Не верь никому... У них другой бог. Их бог — рогатый бог стяжателей. Твой Бог — всемогущий Бог изгоев. Расти, Саня...

Теперь их власть повсюду: она, словно алчный зверь, стоит на золоте, на огромных деньгах, на нашей с тобой беде и нужде... Такая власть питается нашей гибелью. Но... Расти, мой Саня... Расти...

* * *

Тарасевна ворочается и тоже отыскивает свою вину в перепутанном вихре минувшего, и смотрит с кровати в чёрную оконную полосу над шторкой — прищурившись, пошмыгивая, зябко потягивая носом:
— Из-за меня всё...

Была бы она начальническая дочь, а не дочь сезонной работницы лес-промхоза, разве попала бы Тарасевна по распределению, после института, в далёкие Столбцы? Нет, не попала бы. Блатных сюда судьба никогда не забрасывала! Никогда...

Или вовремя вышла бы Тарасевна замуж за своего одноклассника — рыжего, неприятно лопухого, пахнущего постными щами, но сунувшего ей в карман однажды, под цветущей черёмухой, оловянное колечко. И не было бы в её жизни никакого Коревки, дался ему этот уран... Ни щитоблочной школы бы не было, ни этого целинного барака, ни унылых долгих вёсен с рядами вечно молодых тополей, высаженных вместо погибших — сгорающих на корню без пожара, выбывающих из строя через пару-тройку лет. Но душа Тарасевны всё-то летела, всё спешила к счастью неведомому, необыкновенному. Умри, но не давай поцелуя без любви, твердила ей непреклонная душа, повторяя невесте кем сказанное.

От стойкого воздержания и упорного этого ожидания счастья ещё тогда, в девицах, суматошная Тарасевна стала худеть и быстро терять молодую привлекательность. С жалким пучком волос на затылке, в тёмной одежде без украшений, обретала она с годами всё больше и больше вид целомудренно-стервозный — как у тренерши по гимнастике или как у медсестры травмопункта.

Учительница высыхала, потихоньку превращаясь из добросовестной Сталины Тарасовны в дотошную Тарасевну, донимающую учеников своей проницательностью, бдительной и беспощадной. Двоечники и хулиганы отвечали ей тем, что в школьных коридорах высмеивали потёртый её ридикюль,

пластмассовый синеватый зуб, рано появившийся взамен утерянного верхнего резца, и колотили нещадно любимчиков Тарасевны — за ябедничество, за вызывающую их опрятность. А также за успехи в учёбе и за примерное поведение.

* * *

И всё же число её выпускников, поступавших в институты, было неизменно самым большим по школе! На прочее Тарасевна не обращала особого внимания. Она всё проводила бесконечные дополнительные занятия по физике, всё катала по наклонной плоскости лысье шары, всё лезла рукою в структурную решётку молекулы, укрепляя проволокой отломившийся от своей орбиты атом... И, кроша мел на чёрную юбку, писала с нажимом белые формулы на чёрной доске, и оставляла после уроков добрую половину проголодавшегося класса, покрикивая бодро и неутомимо:

— Повторенье — мать ученья!.. Кто не работает, тот не ест!..

— Тяжело в ученье — легко в бою... — откликались дети без радости. — Работа не волк, в лес не убежит...

А короткие письма рыжего тамбовского ухаждёра, ставшего совхозным ветеринаром, оставались без ответа год за годом, хотя они давно уже не пахли постными щами, а только карболкой, хлоркой, позже — пенициллином...

Поток писем, конечно, иссяк со временем. И взглянуть на поджарую Тарасевну, приезжавшую изредка в тамбовскую деревню, чтобы навестить старую мать, ветеринар не пришёл ни разу. Даже на похоронах материнских Тарасевна в толпе провожающих не увидела его рыжей головы... Но колечко оловянное она берегла. Спустя годы, после краткого позднего замужества, вынимала его, ненужное, из потёртого спичечного коробка, когда бывало совсем пусто на душе.

* * *

По молодости водились у Тарасевны тут, в Столбцах, друзья — рижане и ленинградцы: штукатуры, бетонщики, маляры, прорабы. Не многие из них уехали после большой стройки — с судьбами, повреждёнными в лихих общезжитиях, где жили по соседству, через улицу, комсомольцы — и “химики”: условно освобождённые преступники то есть... Остались от ленинградцев и рижан в бескрайней степи могилы всеми забытых парней, замёрзших в буранах, погибших в поножовщине, выброшенных на асфальт с верхних этажей, и повесившихся или наглотававшихся укуса девушек, грубо обесчещенных, осмеянных, забеременевших некстати. Да ещё две длинные улицы неказистых крупнопанельных пятиэтажек. И огромный Дворец культуры, развалившийся сам собою с западного угла...

— Я, я во всём виновата, — вздыхает Тарасевна, покручивая на кривом мизинце, под одеялом, истёртое оловянное колечко, которое после развода с мужем она вдруг решительно надела — и уж не снимала больше. — Ох, не послушала я, глухая, умную сумасшедшую!..

Вот когда пробрал её страх от криков косматой юродливой красавицы, тогда и надо было развернуться с дерматиновым лёгким чемоданом — и бежать на вокзал со всех юных ног, в обратный путь, не оборачиваясь! А она, молодая учительница, бредущая по разбитому тракту к незнакомому городу в толпе приехавших, только остановилась, остолбенела — и долго глядела на странную худощавую женщину в лохмотьях, голосащую там, в степи, страшно, надрывно:

— Дураки-и-и!!! И куда же вы приехали?! На беду свою приехали!.. Дураки! Дураки! Возвращайтесь назад!.. Локти будете кусать потом, поздно будет! На вокзал бегите, на свой поезд, пока он ещё не отошёл!.. Ой, что вы наделали!..

Никто в Столбцах не знал имени этой дикой женщины, никто не видел её потом на улицах города. И как, откуда появлялась в пустынной степи косматая юродивая, не старая и не молодая, и куда пропадала потом, было неизвестно. Но неизменно встречала она всех, сошедших с этого единственного утреннего поезда, прибывавшего раз в неделю. И плакала безутешно над будущими их судьбами, и билась поодаль, в поляны, и кружила, и ругала спешащих к новой жизни по старому степному тракту — со своими сумками, тюками, чемоданами; с направлениями на комсомольскую ударную стройку:

— Дураки... Какие дураки-и-и... К беде своей приехали! Вернитесь!!! Не поздно ещё!..

Заламывала юродивая в бессилии тонкие руки, выла, запрокидывая голову к пустому, без единого облачка, безучастному небу, потом кричала вслед толпе всё тише, всё безнадежней:

— Наплачетесь... Как же вы наплачетесь!.. Бегите отсюда... На поезд. Он ещё стоит... Он ещё не ушёл... От беды своей бегите, домой...

Но никто не слушал смуглой юродивой. Все спешили в город вечно молодых тополей, до которого было рукой подать. И перепугавшаяся молодая Тарасевна поспешила в то утро вместе со всеми — туда, где тускло белела в крутящейся пыли кучка домов и высились длинные шеи подъёмных кранов и там, и сям...

Подозревали даже в Столбцах, что эта юродивая — не сама по себе, а, возможно, агент, ведущий близ вокзала подрывную агитационную работу. Говорили, что от тайных сыскных органов ускользает она каждый раз то ли чудом, то ли колдовством. Но вот, мол, её наконец изловили. И “закрыли”... А на следующей неделе утренний пыльный город принимал новых молодых людей, устремлённых к чудесному созидательному будущему. И юродивая металась в степи, словно пыталась спасти двигающихся на закланье, и оплакивала вновь прибывших, всех и каждого, совсем не боясь кары:

— Ой, горе, горе горькое... Что вы наделали! Зачем приехали — на беду свою? Назад бегите! На поезд!.. Дураки! Какие дураки...

Они, молодые, сменяли друг друга, волна за волной. В город Вечно Молодых Тополей, на место выбывающих строителей, приезжали новые, новые, новые комсомольцы. Год за годом. И мало кто из них успел состариться здесь...

Вон там, всего в сотне километров от Столбцов, стояло военное оцепление, а в шахте работали привозные рецидивисты, срок заключения которых значительно превышал срок их земной жизни. Однако в Столбцах про близкую урановую шахту упоминали редко даже в те времена, когда подневольная работа кипела в недрах земли вовсю: эти сведения не подлежали разглашению. А грузовые машины с зарешёченными кузовами всё двигались через городишко в сторону “почтового ящика”. Но жившие в Столбцах люди старались их не замечать, словно следовали мимо них грузовики-призраки. И молодая пугливая учительница, опаздывающая на урок, всё норовила поначалу нырнуть в проулок, на путь долгий, обходной, сбежать в котлован, выкарабкаться из него на четвереньках поскорее, чтобы влететь в учительскую хотя бы вместе со звонком... А потом привыкла; она стала, как все, отворачиваться от грузовиков, как от призраков, — и только.

Лишь раз в месяц, поутру, вцепившись в чугунные прутья, мчались по тракту в кузовах, сквозь городок, серые люди, ошалевшие от бессмысленности собственной, уже заранее обречённой на гибель, жизни. И оттого хохотали они, выкрикивая всем редким прохожим — заспанным комсомолкам, важным коммунисткам и нарядным беспартийным женщинам — непристойности мерзкие, отвратительные. И успевали посылать им сквозь решётку похабные знаки. Они хлёстко шлёпали пальцами по ладони — или рубящим жестом ударяли

по собственному локтевому сгибу. И жестоко визжали. И орали, орали... Для того, чтобы хоть одна посмотрела на них долгим взглядом. И запомнила! Пусть — содрогнувшись от отвращения, но глянула бы на каждого именно женщина! И запечатлела бы в своей памяти мимолётно серое это лицо, пусть — гнусное!.. Перед тем как уйти рецидивисту под землю: в ад при жизни, — в смертоносное излученье пород — навсегда, пусть обернётся женщина в его сторону...

Но женщины уводили свои взгляды от их диких жестов, от искривлённых чёрных ртов и тоскующих глаз — уводили, не запоминая никого из заключённых. И не давали им запомнить себя, отворачиваясь тотчас. Что уж тут хорошего, если память об их живом образе унесёт кто-то с собою, в урановое каменистое подземелье? Плохо будет лику женскому там всплывать перед кем-то и пребывать в заключении. Пусть в мыслях чьих-то — всё равно: плохо...

Бесстрастный молодой конвой в отдельном решётчатом отсеке восседал всегда отрешённо, держа автоматы дулами вверх. Но обратно, в сторону противоположную, лихой люд уже не перевозился никогда: зарешёченные грузовики следовали из “почтового ящика” пустыми неизменно. Дорога в урановый “почтовый ящик”, пролежавшая через Столбцы, для серого провинившегося люда была дорогой в один конец.

* * *

Этой ночью не различить разбитого тракта под летящей, бесшумной ползёмкой... И людей прошлого не воскресить. Все они проходили чередой сквозь степные ветра, все пронесли свои судьбы под одним и тем же равнодушным колочим солнцем — заключённые, офицеры охраны, молодые автоматчики — и стинули хоть и в разные времена, но равно бесследно.

Никто не высаживает больше по весне саженцы тополей вдоль тротуаров. И давно уж не встречает приехавших в Столбцы косматая сумасшедшая — там, где рыдала она в степи недалеко от тракта, стоит длинная автобусная остановка из тюремной решётки, оставшейся от лагерных времён, а за нею — пустота: пустота и граница...

Затих ближний вскрывший комплекс, наминавший ранее шумное строительство Вавилонской башни, только перевёрнутой и состоящей из пустоты, всё углубляющейся конусообразно в глубь земли. Растаяли во времени окрики бригадиров, перебранки нормировщиков и учётиков добычи бокситовой руды. Гвалт разных наречий и языков со всего Советского Союза распался, иссяк, растворился, как и не было его вовсе. Со дна огромного котлована не поднимались больше по пыльным дорожным спиральям тяжёло гудящие гружёные “БелАЗы”.

Весь горно-обогатительный комбинат с его конторами, вагончиками, рабочими корпусами, конвейерами и трансформаторами давно простаивал и разрушался. Слабые последние работы ещё велись в северной части комплекса, да и те уже затухали — там время от времени резали сияющей сваркой на металлолом мощный роторный экскаватор и всё не могли дорезать до конца; с отправкой металла китайцам что-то у кого-то не получалось. А металлическая машина была такой огромной, что никак не кончалась и словно не замечала, как теряет она часть за частью, часть за частью.

Да и сами вездливые сварщики, со своими щитками и электродами, напоминали теперь только оводов, жалящих без толку огромное и мощное индустриальное совершенство. Разрушительная работа продвигалась медленно и почти неосязимо для постороннего глаза...

* * *

Городишко тем временем тоже сокращался потихоньку до размеров прежнего старого поселения. Две центральные улицы существовали как прежде — иногда там журчала в кранах вода, и батареи нагревались до тем-

пературы человеческого тела. А одряхлевшие многоэтажки для рабочего когда-то люда зевали на горе выбитыми окнами. В них сквозил, гулял и свистел ветер разрухи — перед тем, как пасть наземь в ночь перелома с осени в зиму и полететь бесшумно, леденя души бродяг, спящих в подвалах. Ступени, ведущие в темень, уже занесло плотной снежной крупью...

Кипит снежная замять у стен домов, и всё выше вздымается она. Не видящие этого, но чувствующие тревожное наступление злого времени года, все в Столбцах видели сей час необыкновенные сны, цепenea от печали, потому что не всем в городишке предстояло выжить в новую лютую зиму. Особенно тоскливо под горами тряпья, одеял и драных матрацев спалось тем, в чьих домах отключили отопление в минувшую зиму, ещё в феврале. Однако в частном секторе с печным отоплением и в целинных бараках вокруг маленькой котельной теплилась жизнь: старинные Столбцы потихоньку существовали бедно, но особо, как и в незапамятные времена... Только городишко с вечера оказался погружённым в такую кромешную тьму, что ни огонька в нём, ни всполоха.

И не было даже единой звезды на небе, словно и там отключили свет всему миру за неуплату.

* * *

В постылом этом бараке настольные премиальные часы, выданные когда-то почтенному Жоресу за досрочно вырытый котлован, стучат особенно громко — они не отсчитывают время, а куют его, раскалённое на невидимой железной наковальне — бум, бум... Но летучая дрёма, будто призрачная белая бабочка, увлекает старика за собою, уводит от мягкого пламени, алеющего меж молотом и наковальной. Порхает, беспокойно вьётся мелкая летняя бабочка на самой вершине сна и не даёт почтенному скатиться вниз, в тёмное бесчувствие глубоких ущелий того, что давно отболело, окаменело, застыло и погасло. Зачем, куда она манит его, эта беспокойная бледная моль? Забыться совсем, отяжелеть до беспомыслия, ослепнуть, оглохнуть хоть на малое время не удаётся никак. И старший брат, геройски погибший под Сталинградом, корит его издалёка. “Эх, Жорес, разве не знаешь ты, что в доме несчастья нельзя брать даже иголку? А ты забрал не иголку — ты забрал себе горестные стены, и пол, и потолок. Жорес, ты влез на старости лет в чужую беду, которая легла теперь на весь наш род — она будет передаваться от внуков к правнукам”.

Старый Жорес хочет объяснить погибшему брату с бинтом, землисто-коричневым на правом виске: русские покинули эту комнату уже четыре года назад. Они, должно быть, сгнули где-то в холодной России, как и большинство русских, потому что нет от них никаких вестей; там время, жестокое время, стучит, бьёт, плющит судьбы приезжих и гасит в бадье с тёмной водой равнодушия — там свой не узнаёт своего, оставляя гибнуть под забором. А здесь, в Столбцах, слишком мало осталось таких домов, в которых можно жить человеку. За эту комнату надо было вносить плату вовремя. Теперь, когда набежал огромный долг, в комнату русских поселили старого Жореса и сделали его квартиросъёмщиком чужого жилья. А прежние хозяева лишились тем самым последнего своего пристанища, и оставшиеся их вещи съел огонь на мусорной свалке...

Только горестные стены, и пол, и потолок помнят уехавших русских. И потому копится темнота в душе у поселившегося здесь старика. И темнота души давно уже стала такой же непроницаемой и холодной, как эта ночь большого перелома. Скоро она задавит, застудит Жореса навечно. Скорей бы.

Ревматизм, подхваченный почтенным Жоресом в молодости, на вдохновенных студёных стройках социализма, этой ночью особенно не даёт старику покоя. Боль накачивается волнами, колко бежит по сосудам, лижет суставы змеиными жалающими языками и повергает изношенное тело в истому сладковатую, расслабляющую, жаркую. Но белая летняя бабочка всё мельтешит перед глазами, беспокойная, лёгкая, навязчивая. И в темноту души

смотрит зачем-то этой ночью светлый погибший брат с грязным бинтом, обвившим его молодую голову, смотрит — и корит...

* * *

Знает Жорес про иголку, и знает, что нельзя селиться в доме чужого несчастья. Только два его внука и овдовевшая сноха с горбатым острым носом, похожим на клюв чёрной курицы, отправили сюда старика, не спрашивая его согласия. Этой ночью мёртвый брат пришёл в барак от самого Сталинграда, беспокоясь о роде...

О каком роде?! Он зря пришёл.

— Слышишь, Марат? Зря...

Если в роду нет больше почтения к старшим, то и рода больше нет. Есть только кривая табличка в память об их отце: улица его имени. Её повесили тогда, когда стало модно воскрешать память погибших в сталинских лагерях... Их коммунистический отец попал в сети Великой Красной Прелести совсем молодым, но постарался выбраться из неё, как только сеть принялась душиить степные народы от Алтая до Каспия. И вот отца сделали героем, сразу же забыв о нём после этого. Ржавая жестянка на углу кривой полуразрушенной улицы, кому нужна она здесь, где остановилась жизнь? Слышит сквозь дрему почтенный Жорес, как скрипит на ледяном ветру та одинокая покорёженная вывеска. Она бряцает и скрежещет особенно уныло в каждую ночь великого перелома, когда на городишко налетает злая зима...

Там, южнее, в крупных городах, разбогатевших от продажи каких-то ценных бумаг, молодые люди их жуза — жуза древних воинов-адаевцев, сели в хорошие кресла. Они разговаривают на английском языке по своим карманным телефонам и едят в нарядных ресторанах обильную пищу заморских стран. Но своею страной они торгуют, словно матерью, вот как понимает это старик с революционным именем Жорес. А тут, севернее, не Туретчина и не Сибирь, не Азия и не Россия — тут поглощает вечное Ничто никчёмные человеческие судьбы.

Да, развитие мира повернулось вспять. И спираль, о которой толковали Жоресу на партсобраниях, теперь раскручивается обратно, очень быстро — от социализма к капитализму, к феодализму, к рабовладельческому строю, к первобытнообщинному... Словно полная бадья воды вдруг сорвалась обратно в колодец и летит в чёрное земное дно, разматывая дребезжащую цепь. Неужто скоро все, все превратятся в таких же ублюдков, как два его внука, и будут ничем неотличимы от похотливых злобных горилл... Страшно вертится сама собою блестящая рукоятка колодца, вытертая до сияющей белизны миллионами мозолистых рук, вздымавших полную, тяжёлую бадью прогресса многими веками.

Теперь надо держаться от мелькающей рукоятки подальше — она зашибёт всякого, кто попытается остановить паденье бадьи, стремительно падающей в глупое, слепое, бесцветное Ничто...

* * *

— Куда мне было деваться, Марат? От тебя детей не осталось. А у меня их было только двое: старший — Максим, и младший — Горький. Нет теперь сыновей и у меня. Максим, связавшийся с целинниками, утопил свою молодость в прозрачной водке. Он въехал на своём тракторе в степной пожар, спасая выращенный хлеб. Если был бы он трезвым, то вспомнил бы: против огня, воды и вихря нельзя воссоставить человеку, а надо спасаться бегством, только бегством. Ведь пропахивать борозды следует там, где земля ещё не горит!.. Но его, нетрезвого, тоже сделали героем на какое-то время и забыли потом, когда совхоз сошёл на нет...

А второй сын, Горький, со временем сменил своё умное, пролетарское и писательское, имя на глупое американское — Гарик. Новое имя его оказалось

короче, чем заморские штаны-шорты, которые ещё не брюки, но уже и не трусы... С этим новым своим подростковым куцым именем второй сын тихо работал на комбинате механиком, пока вконец не заела его сварливая продавщица-жена, приносившая в дом больше денег, чем он — куда больше... Она насканивала на него, эта чёрная боевая курица, задиристая, как петух, и важная, как индюк. И она не заметила, как однажды задолбила мужа насмерть.

Жорес видел это изо дня в день: от брани боевой курицы-продавщицы воспалялись нервы его сына, и он покрывался неизлечимой коростой, но что старик мог сделать — в той квартире, где хозяйкой была она? Хорошо, что тихая его Жамиля уже не застала медленной гибели младшего сына, запаршившего на глазах, как бездомное отощавшее животное.

Да, против огня, воды, вихря и женской злобы нельзя восставать человеку, а надо спасаться бегством, только бегством. Спасаться, пока есть ещё силы на это... Судьбу младшего сына растрепала в клочья, сожгла, развеяла по ветру огненная, клокочущая, неумная женская злоба...

* * *

Бросает старика Жореса то в нестерпимый жар, то в холод проклятая ревматическая лихорадка. Гуляет в теле болезнь, змеится, будто позёмка, лижет ледяными тонкими языками его суставы — и жжёт.

Порхает дрёма белой летней бабочкой на самой вершине тёмного сна — и не даёт старику забыться так, чтобы не чувствовать боли. Он хочет спросить умершего брата получше — старятся ли молодые кости в земле и ноют ли, как у него? Или ранняя геройская гибель избавляет от болезней человека так же счастливо, как от дальнейших испытаний судьбы? Но молодой брат со своей неразорвавшейся гранатой в руке может уйти из барака в любой миг. И потому почтенный Жорес торопится сказать ему про главное:

— ...После смерти Горького боевая курица сразу отселила меня в этот барак и обещала присматривать. Но сюда приходят лишь её дети — два моих внука, один из которых — широкоплечий бандит с чугунной головой, а другой — узкогрудый курильщик маньчжурской дурной травы. И оба ждут моей смерти... Марат, не отворачивайся от меня! Куда ты спешишь? Пусть твой Мамаев курган подождёт немного. Выслушай, прошу! Внуки приходят не только потому, что им не терпится присвоить себе эту комнату. Они ещё хотят занять здесь и другие — те, в которых ютятся живые люди... Как это страшно, когда жильём людей можно торговать! Нынче достаточно выкинуть человека из своего угла, чтобы получить за это много денег. А деньги мои внуки ценят превыше всего, потому что новый строй поставил превыше всего остального — деньги...

Слышишь, Марат? Взял бы ты меня с собой в свой безденежный курган, в надёжный непробудный сон и неизбывный покой, — пытается встать на своей постели старик. — Они, мутноглазые внуки, мечтают о гаремах с белыми невольницами и о таких скверных удовольствиях, про которые мы не знали! Новое время заразило их развратным бездельем, они не хотят ничего иного. И они уже почувствовали вкус присвоения чужого — скота, жилья, женщины. Теперь их не остановить вовеки, хватающих чужое горе как лакомство.

Но брат почтенного словно истаивает во тьме.

— Куда же ты спешишь? Или ты не хочешь даже слышать о них, опозоривших наш род навсегда? Почему ты, Марат, уходишь со своей неразорвавшейся гранатой, один?.. И кому же я расскажу теперь про то, что здесь творится?!

От ломоты в коленях, пояснице и локтях слишком медленно поворачивается старый Жорес, но тянет руку и пытается вскочить с кровати во что бы то ни стало.

— Слышишь? — кричит он брату. — Не уходи! Или прежде оставь гранату мне! Не случайно же ты крепко держал её долгие десятилетия в мёртвой своей руке...

Ничего уже не видно старику в кромешной темноте, кроме белой бабочки, мельтешащей, порхающей, вьющейся. Но мёртвый брат его, кажется, ещё здесь...

— Сколько можно лежать ей без всякого толка в сталинградской военной земле? — кричит старик про гранату. — Она не взорвалась в той защите Отечества? Разожми свою мёртвую руку, Марат! Пускай она взорвётся — в этой, сейчас! Взорвётся — и разнесёт в клочья, и сожжёт наш позор догла...

* * *

Слово “позор” в эту ночь очнулось в Столбцах. Оно стало таким подвижным, что перелетало из одного сна в другой, мучая спящих. И лежащая под колючими венками Нюрочка старается не слышать привычных упрёков справедливого своего свёкра, долетающих из минувших дней:

— Позор!.. Эх, вы! Спекулянты вы, а не дети.

Его крик врзался в память её подобьем злой татуировки, которую невозможно вывести из сознания без шрама ни при жизни, ни после смерти:

— Ра-бо-тать на-до!!! Тут деды, прадеды наши — все ра-бо-та-ли. Труди-лись! А вы?..

Но Нюрочкина душа привыкла сгибаться под тяжестью этой правды и сносить её без обиды: что толку от разоблачений, если следовать нравочениям невозможно? Небо вынужденного греха нависло над всеми в равной мере... И Нюрочка рассуждает дальше, о своём — о самом главном для неё. “...Я могла бы подумать, Саня, что ты захотел родиться здесь потому, что здесь оказался Иван. Все, все Бирюковы здесь жили всегда, и тебе важно было продлить своим рождением их вечное пребывание на этой земле. А я была только сосудом, только вместилищем для твоего временного пребывания... Но это не верно. Потому что всё живое на Земле зарождается и движется надземной любовью. Любовь же приходит в мир через боль... А Иван, он очень любит тебя, но с отцами дети не связаны таким количеством боли: ты родился тут из-за меня...”

— Ребёнка завели! — лютует свёкор в своей хмельной правоте. — А сами кто? Рабочий класс? Интеллигенция? Нет: шантрапа вы! Барыги...

Это Нюрочка и Иван — барыги. Но она думает сквозь вьёвшиеся крики, словно с трудом плывёт поперёк течения — она упрямо думает, думает во сне: “Да, да... Мужчина не сопряжён с ребёнком нужным количеством боли, и крови, и мук. Любовь это боль, много боли... Да, всё верно: ребёнок ещё до рожденья выбирает своей любовью единственную для себя мать — и одаривает болью, кого любит. А мать одаривает болью ребёнка, переживающего ужас рожденья, когда кольца мышц, готовые порваться, того и гляди задушат его. Сильную боль приносит очень сильная любовь. Но она надмирная и не вполне понимая нами...”

— Молодёжь, называется. Разве мы тут, в Столбцах, когда-нибудь так жили?! Позорники...

Пусть кричит кто угодно и что угодно. Правых много, всех не переслушаешь. Нюрочка, давно притерпевшись к позору, слушает во сне только свои мысли — и во всём соглашается с ними: “...Нет, Иван тоже любит тебя, Саня. И ты любишь его. Но вы любите друг друга отдельно — у вас не было общего тела и общей боли”.

— Говорил же вам сколько раз?! Бестолочи! Ра-бо-тать надо!!!

“...И вот, мой Саня, ты родился здесь, в Столбцах, в пору невиданной разрухи. Саженьцы тополей приживаются в этой розовой земле очень хорошо и даже вырастают необычайно высокими в два лета. Но к третьей осени, когда смелые, сильные их корни углубляются настолько, что начинают пить урановые воды, молодые тополя с весёлой листвой превращаются в собственные обугленные тени. И век здешних людей тоже короче обычного. Но когда-то мы были Россией. А теперь стали людьми без Родины.

Смелый мой Саня... Мой маленький, что же ты натворил?! — горюет и

горит Нюрочкина душа в ночи. — Зачем, зачем ты родился — у нас, ничейных людей?.. Зачем, мой единственный, ты родился — здесь?!”

В эпоху разлома империй нельзя рождаться детям на пограничных окраинах национальных материков.

* * *

Вдруг Нюрочкина душа стихает от робости, потому что в эту ночь перелома ей открывается понемногу что-то ещё — совсем иное, потаённое, не осознаваемое прежде... Может быть, России тоже больно — оттого, что они, трое, и все остальные, подобные им, вытолкнуты, как часть её тела, и отторгнуты ею? Исторгнуты, вытолкнуты, выброшены в чужой огромный внешний мир беззащитными и не умеющими дышать чужбиной... Может быть, они — Саня, Иван, Нюрочка — любимы оттого молчаливой тайной настоящей Родины особенно сильно? И презренье правителей России к ним — к Нюрочке, Сане и Ивану — это только презренье новых правителей к сокровенной самой России?

Россия, родительница! Россия-роженица, насильно вспоротая и наспех зашитая, обескровленная и обедневшая, видны ли тебе в холодной тьме наши страдания?.. В такой холодной, огромной — и не защищающей тьме?

Здесь, в азиатской России, русской Азии, мы дышим тьмой, опасно проторной, и вбираем её зреньем по чуть-чуть — чтобы не понять больше, чем нужно, от чего может зайти беспомощное, не вполне привыкшее жить без Родины сердце: в темноте, обступившей нас со всех сторон, затаилось будущее. Грядущее, будто вор — похититель счастья и самой человеческой жизни — выжидает своего часа: но оно — уже здесь.

А пока в огромной остывающей тьме родины-чужбины нужно жить осторожно, и дышать осторожно, и смотреть из-под опущенных век — по чуть-чуть. И молчать — чтобы не взбаламутить, не вспугнуть надвинувшуюся тьму с великими и грозными её смыслами. Лишь бы не заходили они, беспощадные, ходуном, не обрушились бы на тех, кто оказался чужим миру вещей — миру, ушедшему из-под ног...

Никто не поспешит к таким на помощь, никто не склонится над спящими, не позвёт материнским тихим голосом: “Что? Что с вами?” Никто, никогда... И Нюрочка ещё не знает, что чужие миру вещей — теперь чужие повсюду: вне Родины — и на Родине они вне жизни...

Она не знает этого — она крепко спит под могильными венками.

* * *

Комната всеми забытого и вконец одряхлевшего поэта Бухмина в бараче была самой крошечной, но имела отдельный вход, с торца. Размещалась в ней когда-то диспетчерская, в которой сидела кукушкой в тесных часах одна-единственная приятная девушка-латышка с крупными лопатками, похожими на небольшие крепкие крылья. Склонившись, она выписывала путевые листы шофёрам-целинникам, не обращая внимания на шутки ухажёров, на раскрытое своё зеркальце на столе и на солнечные зайчики, бегающие по её заранее разлинованным бумагам своевольно. А корреспондент Бухмин сочинил однажды в газету звонкие стихи о трудовой её старательности, от которой гуще и радостней колосились степные нивы, поскольку на посевную горячее доставлялось без промедленья: зерно снова легло в землю в благодатный срок. Да и сама послевоенная огромная страна оживала стремительно, и каждая отдельная добросовестная судьба, переплетаясь с другими такими же, питала собою единое древо — народный крепнущий организм.

Чёрные тарелки репродукторов на столбах передавали утренние сообщения о новых снижениях цен. Они пели на всю улицу задушевные песни о всеобщем счастье, о верной любви, о нерушимой дружбе между народами,

а иногда читали дикторским голосом стихи поэтов-фронтовиков, в том числе и Бухмина: “Восходит солнце из-за горизонта, собою украшая небеса, глядит — и не насмотрится на наши родные горы, степи и леса...”

Гораздо тише сообщал, пел, читал всё это и белый репродуктор-коробок над головою девушки-латышки. Но тесную диспетчерскую со временем перевели в жилищный фонд, и в неё попал через много-много лет, словно в клетку, сам забытый всеми поэт, имя которого, однако, давно уже принадлежало прошлому — потому, что отпечаталось в нём навечно.

Стесняясь теперешнего своего положения, жил он в бараке наособицу, ни с кем не знакомясь. Ему хотелось оставаться в памяти людей полным сил, подтянутым и бравым, несмотря ни на что. Бухмин затворился; он словно умер для всех, скрывая свою драхлую немощ от любого внимательного взора.

* * *

Тут, в бараке, старый поэт разговаривал только с покойной женою. И собирался спать так, как собираются на охоту: влезал в валенки, хотя и в них ноги его ночью не согревались, надевал тужурку, подпоясывал её полотенцем, чтобы она не задиралась во сне и чтобы вечно зябнувший живот не оголился невзначай.

Даже во сне Бухмин лежал, вытянувшись во весь рост. Он будто принимал парад: минувшее повторяло себя ночами в точном соответствии с давней его жизнью. Оно было похожим на чёрно-белый блестящий мрамор с нежнейшими дымчатыми прожилками. Давние события сделались его новыми, барачными, снами — тёмно-светлыми, как документальный фильм без конца и начала. А цветные вкрапления в его прошлом уже почти не встречались; многое выгорело, обветшало, многое полиняло за долгую жизнь, хотя и оставалось ещё в памяти кое-что особенное, не боящееся тления ни сколько...

Этой ночью Бухмин снова был курсантом, безнадёжно влюблённым в женский полк. Маленькие девушки-связистки проходили перед ним, бойко топя просторными солдатскими сапогами по белой мостовой. Утренний волжский городок тоже глазел на мелкорослый полк белёсыми запялёнными окошками. Улицы сбегали к реке, но замирали, споткнувшись о меловые карьеры с белыми довоенными отвалами, прибитыми дождями. А девушки, похожие на шестиклассниц, шагали дальше, к пристани, по белой наезженной дороге, размахивая руками, как взрослые солдаты. За малый рост, на подбор, они прозывались малокалиберными, а ещё — *карандашами*, и внушали Бухмину умильное желание опекать каждую из них — равно.

Бухмин, однако, изменил полку довольно скоро — когда увидел возле вокзала одну, высокую, стеснявшуюся своей худобы. В белом ситцевом платке, в тесной тёмной кофте, вязанной пупырышками, она оглянулась на бегу. Пасмурный, торопливый взор коснулся издали губ поэта. В тот миг женский задорный полк померк в его восторженном сознании, а там и забылся всем боевым составом...

Но эта, самая лучшая, незабываемая, с тревожной сумеречной тенью в глазах, едва не убежала от него тогда в грохочущее железом депо, размахивая полупустой авоськой с завтраком для отца. Зато потом она смотрела на него с перрона, припудренного меловой пылью, и шла вдоль состава, и бежала за ним. И в пасмурных глазах её плыли дождевые тучи. А он, в новой шинели, с лёгким вещмешком на плече, кричал сквозь белый пыльный ветер с подножки поезда, идущего на юго-запад:

— Слышишь? Никуда не уезжай отсюда! После войны я найду тебя. О-бя-за-тель-но!!! Только не уезжай!..

Совсем юная, всё в том же белом платке, она согласно кивала ему, стараясь улыбнуться безмятежно:

— Не уеду... Никогда... Никуда... — и прижимала руки к горлу по-вдоль.

* * *

Перебрался он в барак совсем недавно, после смерти своей фронтовой подружки и жены Лизы, из квартиры приличной, большой, полученной когда-то от редакции. А как произошло его несуразное переселение в диспетчерскую комнатёнку, древний Бухмин толком не понял до сих пор. Какая-то молодая толстощёкая женщина с плоскою обширной спиной вдруг решительно взяла его под руку ещё на кладбище и уж потом не отпускала больше до самого дома. Она осталась с ним, овдовевшим ветреной весной, в осиротевшем его жилище.

Бухмин не замечал её поначалу, потому что думал: каково-то сейчас его старенькой жене одной, под землёю. Его удручало, что там всегда темно: бесстрашная снайперша Лиза не боялась на свете ничего, кроме сырой темноты и холода...

Толстощёкая молодая женщина с плоской спиной тем временем ладонью стирала пыль с его дубового письменного стола, и тою же ладонью гладила Бухмина по голове, и лежала какое-то время рядом с ним, в спальне, не сняв широких лакированных туфель с кожаными чёрными бантами у щиколоток. Помнится, он даже расплакался вдруг. Да, он повернулся к ней, чтобы произнести только что придуманные строки — о женщине-воине, ушедшей из белорусских сумрачных болот в окончательную степную тьму. В тех болотах его молодой Лизе приходилось лежать ночи напролёт в ржавой холодной воде... Но толстощёкая женщина широко зевнула, дрогнув красным языком, и встала.

Он поплёлся за нею следом, на кухню, выговаривая сокровенные слова поэмы с долгими паузами и тщательным раздумьем: угодил он Лизе или нет... Женщина тем временем жарила картошку, ела её, золотистую, горячей, нарочно громко стуча вилкою по сковородке. То, что Бухмин пытается разговаривать с нею, женщине решительно не нравилось.

Потом женщина утёрлась Лизиным передником и сказала, бросив его в угол, что дома ждёт её муж-сварщик, который режет роторный экскаватор на металлолом.

* * *

Исчезнув на пару месяцев, молодая женщина появилась снова. Она прошагала в своих лакированных плоских туфлях вокруг поэта, обойдя его, словно безмолвное высохшее дерево, затем остановилась и сказала, приблизив лицо к лицу, что у неё и Бухмина будет крошка.

— Но почему не от сварщика? — испугался дряхлый Бухмин, голова его затряслась от волнения.

— Ах! Подлец! — прокричала тогда женщина, отстранившись. — Это ты не хочешь нам помогать!

— Кому — вам?

— Мне и крошке.

— А тебя как зовут? — пытался пробиться к её душе растерявшийся Бухмин. — Как?

— Никак!

После этого женщина пронзительно зарыдала, нашла какие-то деньги в комодке и удалилась, причитая:

— Куда мне деваться с его дитём? Куда-а-а?! Кому я нужна теперь?! Обманул, обманул, прохвост...

Её слова, колкие, отрывистые, катились вниз по лестнице, словно ежи, пока женщина не вышла из подъезда.

— Дитё куда я дену?! — прокричала она с новою силой уже под окнами, задрвав голову вверх.

Потом, утёршись решительно, взяла под руку какого-то косматого парня с палочкой мороженого во рту и потащила его за собой, переваливаясь, будто утка.

* * *

Самым ужасным стало то, что теперь женщина в широких лакированных туфлях появлялась перед старым поэтом внезапно, в любое время дня и ночи, — у неё почему-то были уже свои ключи от их с Лизою квартиры. К тому же кричала она слишком, слишком громко, растворив дверь на лестничную площадку во всю ширь:

— Ты не платишь нам алименты! Я расстраиваюсь! Бедная крошка!

— А кто она? — не всегда понимал рассеянный Бухмин, принимая иногда, по старческой забывчивости, это навязчивое слово за чью-то, может быть, фамилию. — Крошко — она кто?

— Не смей притворяться, развратник! ...Ты меня растлил.

— Но при чём тут я? — пятился от неё Бухмин. — Нет! Это, верно, сварщик! Ты перепутала! И... не было у тебя никакого живота. Неоткуда взяться крошке, решительно неоткуда... Сварщик подтвердит.

— Врёшь! Растлил!.. И забыл. У тебя склероз. Не отпирайся!

От крика женщины, повторяющегося изо дня в день, у поэта ослабевали ноги. Он туже запахивался в мягкий плед и бежал от неё, теряя шлёпанцы, — ужасно медленно, неловко бежал, чтобы запереться в своём кабинете, забиться в угол дивана, зажмуриться, — но не успевал.

— Негодай! — настигала его стремительная чужая женщина без имени. — Из-за тебя у меня пропало молоко!

— Как — пропало? — тревожно вертел он седой косматой головою. — Украли что ли? Оно где у тебя стояло? В бидоне?.. Сейчас многие из сеней воруют. Ты где живёшь? В частном доме? Пускай сварщик вставит хороший замок... А я не брал твоё молоко. Нет. Ты сюда его не приносила...

— Мерзавец! Он решил издеваться надо мной! И ребёнком! Старая рухлядь! Если ты стал отцом на старости лет, изволь обеспечить!

Бухмин едва не плакал.

— Я не просил молока... — твердил он, прикрывая лицо руками. — Я ничего у тебя не просил! Иди к себе! Карауль молоко там. Иди! Зачем ты здесь?..

* * *

Ему в самом деле трудно было понять, про что она каждый раз толкует, женщина с кожаными бантами у щиколоток. Его Лиза-снайперша застудилась в тех самых непролазных тёмных болотах и была бездетной всю их долгую жизнь. А тут ещё рядом с кричащей женщиной стал появляться какой-то вертящийся во все стороны обалдуй с блестящей серьгой в ухе. Он похлопывал Бухмина по плечам, сбивая с пиджака то ли пыль, то ли перхоть, и утешал:

— Ничего. Я как-нибудь всё улажу. Есть у меня на примете один ход. Юрист подсказал. А иначе ты с этой халдой не развяжешься. Уж я-то её знаю!.. Ишь, алименты она захотела! Не вытрясет она из тебя ничего. Отвечаю!

— Но... какие алименты могут быть, если у неё муж есть? — спохватывался Бухмин. — И... что скажет сварщик на это? ...Не понимаю я!

Он даже топал и кричал в отчаянии, зажимая уши ладонями:

— Логика где?!

— Важно как раз, чтобы сварщик об этом не узнал, — стоял на своём невозмутимый парень. — Иначе ты можешь попасть под его электрод. И тогда даже я не смогу тебе помочь. Сварщик — здоровый. И свирепый... Он, ривнивец, металл кромсает, как бумагу... Такого он тебе не простит.

— Чего — не простит?!

— Ничего не простит, — оттирал, отколупывал, отряхивал что-то с его пиджака странный парень с серьгой. — Слушай меня, родной! Тебе лучше вести себя тихо. Понял, нет? Тогда улажу — всё! Замётано.

От частого этого похлопыванья в сердце поэта разрасталась тоска. И так, тоскуя, Бухмин продал поскорее своё жильё всего лишь за крошечный зада-ток, как раз этому самому обалдую, подсунувшему вместо обещанной и осмотренной двухкомнатной квартиры комнатуху-диспетчерскую. Парень, правда, помог с перевозкой вещей, хотя расплатиться не пожелал.

— Она потребовала свою долю! Для вашей крошки! — развёл он руками. — Я отдал этой халде всё до копейки. Но и того ей было мало!.. Грозилась сварщику рассказать. О вашем романе. И о том, что я тебе помогаю! Едва отделался от неё. Связался я с вами на свою голову... Пришлось, конечно, сэкономить немного на твоей площади! Так что я с тобой в расчёте. Живи теперь спокойно, ветеран. Сочиняй куплеты.

И снова Бухмин ничего не понимал. Он лишь глядел, как зачарованный, на маленькие женские руки парня и на блестящую нестерпимо серьгу в его ухе, да пытался унять дрожь небритого своего подбородка.

— А что за кольцо ввинчено здесь? Над окошком? — обеспокоился вдруг Бухмин; оно встревожило его видом своей никчёмности — крепкое одинокое кольцо из нержавеющей стали.

— Тебе не всё равно? ...Может, клетка с канарейкой висела.

— С певчей? — обомлел поэт от своей догадки. — Где же она теперь?

— Всё певчее теперь сдохло! — грубо оборвал его обалдуй с серьгой.

— Разве? — ужаснулся Бухмин.

Парень рассмеялся девичьим тонким смехом и повторил громче:

— Сдохло всё, всё певчее, отец! А ты не слышал?

— Почему? — расстроился Бухмин. — Сдохло?

— А чтоб не чирикало! Время наше такое... И я учился в детдоме играть на валторне! Ну, бывай, счастливчик. Судьбу благодари: живой остался. И не на улице, а под своей крышей. Нарвался бы ты на другого... Только я вот с тобой возжусь, как дурак. Тёплое жильё тебе, между прочим, надьбал. Здесь отопление работает! А мог бы ты, родной, в разрушенной многоэтажке оказаться, на горке, возле комбината. Цени!

— Да! Да! — с готовностью откликнулся Бухмин, не в силах оторвать взгляда от блеска круглой серьги в ухе парня. — Премного благодарен. За хлопоты. Вы ведь потратили на меня столько сил. А я вам никто, чужой человек... Не особенно удачно всё получилось, конечно, тем не менее — благодарен, особенно за то, что полки вы мне повесили. Растроган, да.

— То-то.

— Кольцо бы ещё убрать, если можно, — сконфуженно указывал поэт на окно, боясь ухода парня и незнакомой тишины, которая вот-вот подступит к горлу в одиночестве, как ржавая болотная вода. — Блестит оно очень.

— Да ты что, отец? Погляди, на какой шуруп оно посажено! Его пальцами не вывернешь... Всё, я пошёл. А кольцо... Ничего, на что-нибудь сгодится. Оно есть не просит, правильно?

Блеснув круглой металлической серьгой, парень хлопнул в ладоши и пропал навсегда.

Бухмин долго стоял среди узлов и чемоданов, разглядывая паутину в углах каморки и вдыхая нежилой запах помещенья с низким потолком, с давно небелёными бугристыми стенами. Они внушали ему, однако, чувство защищённости. Но в блеске висящего под потолком кольца чудилась ему невнятная, таинственная насмешка.

Он с трудом отводил взгляд, который своевольно возвращался всё к тому же стальному блеску, многозначительному и непонятному. От этого блеска хотелось избавиться немедленно — закрасить чем-то кольцо или обмотать его тряпкой...

Надо ли говорить, что уместилась в барачной комнате жалкая часть библиотеки Бухмина — всего четыре навесных полки, а ещё кухонный стол,

старый диван из прихожей и стул. Но куда подевалось всё остальное, старый поэт не знал. И как петлю свил из старой простыни, разорвав её на части, не приметил, и как через блестящее кольцо протянул, запамятовал тоже. Так и висела она белым полукругом, не мешая особенно Бухмину, потому что сразу же болтающийся конец её он отодвинул в сторону, в самый угол окна, накинув там на какой-то кривой гвоздок, торчащий из рамы.

После этого поэту стало гораздо спокойней; кольцо поблёскивало слабее. И он вдруг осознал, что петля, нечаянно заготовленная впрок, для будущего, ещё большего осложнения жизни, уже есть, и что получилась она вполне сносной. А впопыхах, при безысходной крайней немощи, ему потом такую, пожалуй, не свить...

* * *

Перестав думать про петлю и про кольцо, Бухмин какое-то время ещё приходил к знакомой покинутой двери, обитой толстым вишнёвым дерматином с тусклою позолотой гвоздей. Он жал на кнопку своего звонка, прислушивался и жал снова, желая получить что-нибудь необходимое — из своей одежды, из книг, из милых сердцу вещей. Иногда ему срочно требовались зубочистки, стоящие в китайском низком бокальчике, на кухонном столе, и седьмой том Лескова, потому что Бухмину никак не удавалось вспомнить доподлинно что-то очень важное “О слабости чувств и о напряжённости оных”, а именно — про *трогательное покаяние*... В другой раз он спохватывался, что в шкафу остались все байковые пижамы и широкий пояс из собачьей шерсти. А то вдруг хотелось ему непременно послушать, пускай — напоследок, пластинку “Прощание славянки”!..

Потом он вспоминал, что в бараке нет семейного кожаного альбома с фотографиями. И телевизора. И телефона. И никак не отыскивалась среди вещей шкатулка с медалями.

— Лиза... Лиза... — топтался поэт на лестничной площадке. — Что я скажу Лизе?.. Она там спросит...

Звонил Бухмин и в другие двери, но никого, видно, не заставал дома — стеклянные глазки из тьмы смотрели ему в лоб равнодушно, как циклопы. Только знакомая соседка с головою, обмотанной лохматым тёмным полотенцем, показалась на одно лишь мгновение, словно горец в папахе, и уставилась на Бухмина диким оком, красным от шампуня, в упор. Она тут же исчезла, громыхнув блеснувшей цепочкой и клацнув замком. Но Бухмин всё равно обрадовался тому. Полагая, что соседка его не узнала, он звонил ещё и ещё. И поглядывал вверх. Потолок тоже смотрел на него — тусклым бельмом плоского одинокого плафона. И всё вокруг не узнавало его, по какой-то недостаточности зрения.

Тогда Бухмин поплёлся в свою редакцию, чтобы сказать новым сотрудникам: “Я жил под красной звездой. Я служил ей верно даже до смерти. Мы не изменили ей ни в чём, но она покинула нас. И всё же, когда умру, я должен лежать под нею, железной, потому что звезда у нас — была. Она светила нам ярко, хоть и очень кроваво... Пусть под серыми деревянными крестами лежат не дождавшиеся счастья. А у нас оно было... Позвоните в военкомат, когда умру: я уйду с железной звездой. Запомните это и налейте мне сто грамм фронтowych, собратья, как живому пока”.

Постояв без толку на пустынном перекрёстке, Бухмин понял, что перейти дорогу не сможет. В тот день дул сильный ветер, от которого кружилась голова и путались мысли.

* * *

Вскоре поэт изнемог окончательно. И в этой комнате-склепе он залёг, словно старый барсук, ожидающий смерти: она сама должна была дать о себе знать каким-нибудь образом — ну вот, мол, и пора. А вместо смерти сю-

да повадилось приходить его давнее прошлое, и Бухмин то смеялся на своём диване, то плакал, бормоча собственные старые стихи. Иногда он бодро проговаривал вновь сочинённые — про седую, беспомощную, но высокую оттого любовь. А то вдруг запульсировало у него в висках: “Бог не выдал. Но съела свинья наши судьбы, деревни, державу. Наши песни, и доблесть, и славу Бог не выдал, но съела — свинья...” Только записывать стихи уже не было сил. Они улетали куда-то с большой скоростью. И Бухмин понял, что он лишь наполняет пространство своими строчками, которые вернутся уже к совсем другим поэтам, и те будут думать, что придумали их сами, а никакой не Бухмин. И сочинительство угомонилось в его душе, и даже зарубцевалось, как заросшая рана.

Рубец, однако, ощущался; всё-то Бухмина озадачивали, тревожили, настораживали сочетания звуков, хотя уже безрезультатно. Даже в шорохе, в посвисте степного ветра музыки было мало; он шумел теперь совсем по-иному — налетал дурными порывами, опадал невпопад и часто грохотал ржавой жостью, срываемой с прохудившихся крыш. Наверно, это было звучание хаоса, потому что гармония в мире искажалась и рушилась... Искажалась, рушилась, грохотала... Куда подевалась русская сила, недоумевал Бухмин. Держаться миру было теперь не на чем. И нечего стало воспевать сочинителям, кроме всеобщего позора.

* * *

Давно уже не весёлый и не красивый, поэт перестал смотреться в навесное зеркало — из стекла глядела на него после умывания только тёмная и старая чья-то рожа с жёсткими волосами, торчащими из ноздрей, из жёлтых огромных ушей. А таким бывший красавец Бухмин видеть себя не желал. За хлебом он выходил в сумерках, брёл кривой захолустной дорогой, где не было встречных людей, в магазине же прятал лицо в воротник.

Несколько раз возле отдельного его крылечка в две доски появлялись люди из военкомата. Бухмин настороженно разглядывал их из-за пожелтевшей газеты, прилепленной к оконной раме хлебным мякишем, и дверь не открывал, чтобы не помереть от позора грязной и бедной своей теперешней жизни. Но расслабленная улыбка застывала на лице его, когда мимо окна пробегала молоденькая бледнолицая соседка с тревожными пасмурными глазами. В комнатных тапках на босу ногу, она стояла иногда на ветру, ожидая кого-то, кто должен был подойти со стороны холодной степи... И в том, как она прижимает к горлу белый платок, было что-то родное, давнее, знакомое.

Бухмин замирал у окна, приподняв газету. Он впадал в тоску щемящую, сладостную, хотя и довольно размытую. И поэту хорошо было думать потом, что пасмурная белокожая соседка дышит, ходит, размышляет где-то совсем рядом, за перегородками барака. Он даже вспоминал время от времени её имя и удивлялся этому: надо же, значит, он сохранил ясность ума, несмотря на все передраги. Хотя откуда ему было знать, как её зовут...

Пожалуй, она была бы куда краше, если бы не выглядела такой озабоченной, жалел бледную соседку поэт. И горевал — оттого, что эта юная женщина рано состарится, очень рано. Такой озабоченности женская красота долго сопротивляться не может. Уходит, смывается, стирается она, редкостная, изумительная, когда окружающие люди не понимают её и не берегут — по невежеству, по наглости или по трудоёмкости жизни...

Позже он придумал для себя, что эта бледная девочка-женщина с предвоенными серыми глазами появилась тут из его очень давней, молодой жизни. Подглядывая из-под газеты, он уже знал: однажды перед мысленным его взором, в чёрно-белых документальных снах, её образ совпадёт с другим, почти таким же, и что-то случится в тот миг — радостное, страшное и непоправимое: тогда развяжется сам собою, быть может, главный узел его судьбы.

От непомерной усталости Нюрочка никак не может проснуться, как ни старается. Ей надо к маленькому Сане. Ей давно надо к Сане. А она спит под могильными венками и изнемогает от отчаянья — она погибает в полной безвестности, оставленности, немоте — и спит. И робко мечтает, как бы закричать посильней — так, чтобы тёмный покров там, наверху, треснул бы, словно от молнии. И она, измученная повседневной работой, — мытьём бутылок, стиркой, готовкой, верчением бумажных цветов, — стала бы видна оттуда, из разрыва небес, вся насквозь — с синеватым разрезом пониже пупка, перечёркнутым трижды розовыми следами от швов, и с ладонями, исколотыми хвоей. Тогда бы сошла на неё сверху кроткая всепрощающая радость, и жалость, и сострадательная ласка, исцеляющая Нюрочку — а значит, всех в городишке... Но она зябнет под могильными венками. Мучается от онемелости поджатого своего тела. И спит, укрытая тьмою, как смертью.

Вдруг неожиданный тончайший лёгкий луч изшёл ввысь. Он легко пронзил несусветную толщу тьмы: серебряная крошечная пробойна неуверенно заиграла в небе — яркая, будто искра, единственная на небосклоне. То закричал, заплакал её Саня!

Нюрочка встрепенулась, взмахнула руками. Колочее, тяжёлое, пахнущее древесной смолою и акриловой краской, рухнуло на неё с шорохом, шумом, шелестом... Нет больше весёлой звёздочки над городком, но нет и смерти. Саня где-то рядом. Он всхлипывает, чихает — и задумывается, робко посапывая. И можно ещё поспать, чуть-чуть, мгновений несколько. Только вот венки навалились, колочий, тяжёлый, с проволочным перекрученным скелетом, а сверху сорвался, рухнул ещё один. И сдвинуть их с себя, могильные, колочие, и сбросить нет сил. Пусть... Ещё немного...

Где-то в мире, кажется, заплакал ребёнок, отчего поэт Бухмин очнулся раньше времени. Да, сначала прозвучал над ним дикторский голос — кажется, из того самого белого репродуктора, висевшего на стене диспетчерской когда-то, много лет назад: “Сильных поднимет слабый. Он разбудит спящих от печали”.

Какой слабый? Откуда — поднимет? Из земли, что ли, хотел было выяснить удивлённый Бухмин, вспоминая торопливо однополчан, павших смертью храбрых, — и героев труда, о которых писал когда-то; нет их давно на свете, сильных духом!.. Однако продолженье последовало прежде его вопроса: “Он победит грабящих. Он уже здесь”. А потом раздался младенческий плач...

Хорошо бы, думал Бухмин, не веря голосу из давно пропавшего послевоенного репродуктора, хорошо бы. Если каждый двадцатый русский стал нынче изгоем, значит, большая допущена измена в верхах, и разорены русские не другом — врагом. Из поражения надо выбираться всем, сообща, надо... Но разве достаточно для этого детского писка в ночи, услышав который, поднимется разве что усталая мать?

И поэт лежал неподвижно — оттого, что был укутан основательно, да и диван шатался под ним при малейшем движении, поскрипывая, постанывая, шевелясь и шатаясь.

Но всё же поэт был рад крошечной тьме: проснувшись от голоса и слабого плача, он на какое-то время освободился от прошлого...

Здесь, в бараке, засыпал Бухмин рано, и уже к полуночи уставал невероятно — смотреть на то, что было, было. А своевольно остановить череду мелькающих во сне кадров не было никакой возможности... Только что в его каморке утомительно пахло шпалами и паровозной гарью. И он видел длинные товарные составы, и разверстые, без окон, вагоны, в которые забирались чеченские семьи...

У Бухмина тогда ещё ныло плечо, простреленное под Мелитополем, залеченное в госпитале наспех. Но война уже стёрла его молодые замашки — рисковать собою напрапалую. Вблизи отважные смерти бывали не менее безобразны, чем прочие. А изувеченные подвигом тела, расстающиеся с душою, становились равно жалкими в последнем своём земном мгновении.

Да он ли то был? Он ли стоял с винтовкой в оцеплении, в горах, под белым предвесенним снегом, падающим с небес? Какой-то озябший солдатик из стрелковой роты, брошенной на помощь войскам НКВД, ловил на себе обжигающие взгляды широкоплечих молодых горцев. Одетые в шапки-ушанки и ватники, они несли мешки на плечах, волокли баулы и плевали иногда под ноги солдатам:

— Дети собаки!..

Старики в высоких каракулевых папахах шествовали уверенно, как военачальники, среди суетящихся военных в синих фуражках, словно видели перед собой цель, известную им одним. Но шквал чужого горя следовал за ними. И Бухмину хотелось заслониться от непонимания в глазах темнолицых диковатых подростков, забирающихся в чёрные чрева вагонов, заткнуть уши от криков смуглых прямых женщин, ведущих с собою целые выводки детей, и отвернуться от гортанных проклятий старух, похожих на орлиц:

— Дети собаки... Тьфу!..

Голова Бухмина ещё покруживалась, а воздух будто был пропитан запахом лекарств. Но мешки и чемоданы всё плыли перед его глазами, старухи всё плевали, а горцы в папахах военачальников всё шествовали к составам, один за другим. И ротный, пробегая, кричал на солдат во всё горло:

— Сомкнуть ряды! Подтянуться!.. Что раскис, боец? Выше голову! Тебе на фронт, а им не воевать. В тыл покатят, дезертиры. Бандповстанцы. Их в горах ещё тысяча тринадцать засело... Кустанович, Ульманис, Краснопольский! Прикрыть оцепление с тыла! Не терять бдительность! А то будет нам праздник, 23-е февраля... Хандусенко! Найди коменданта эшелона. Нет у меня людей. Пошёл он... со своим кровельным железом, и с ведрами, и с фонарями! Так и скажи. Конвойные войска погрузят! Умный нашёлся. Там груза этого — кот наплакал... Шустрей давай!

А потом и сам Бухмин орал окрепшим вдруг, надсадным голосом:

— Назад! Не приближаться... Назад! Стоять, сказал...

Редкие выстрелы раздавались вблизи привокзальных домов, доносились со стороны городского базара, но горы молчали. И белый выпавший снег быстро пропечатывался чёрными следами всё новых и новых конвоируемых и конвойных. Операция “Чечевица”, начавшаяся под утро, шла своим чередом.

Гвалт, ругань, плач метались в крошечной комнате поэта, под низким барачным потолком. Предвесенье 1944-го года ныло в левом плече Бухмина, кричало паровозными высокими гудками, предупредительно грохотало сцепкой тяжёлых вагонов, трогающихся в путь, подальше от войны. И новый длинный эшелон из слепых шестидесяти пяти вагонов тут же занимал место убитого. Пару раз Бухмин пересчитал их тогда зачем-то...

— Поторопись!..

Его тошнило, помнится, от крутого курева натошак, заедаемого снегом. И силы покидали Бухмина в конце того суматошного голодного дня, внезапно перешедшего в глухую ночь. Но вдруг прозвучали беспрекословные слова — из белого ли давнего репродуктора, или, может быть, из послевоенной чёрной тарелки с уличного столба? Нет, всё же — из репродуктора, висевшего когда-то над прилежной девушкой-латышкой с лопатками, торчащими, как недоразвитые крылья: “Сильных поднимет слабый”.

Не осталось их давно на свете, сильных, не верил Бухмин советскому голосу. Никто не поднимет ислевших в земле. Все герои ушли — туда, в тёмные, сырые недра, насовсем.

“Он разбудит спящих от печали — он победит грабящих...”

И что-то прошло беспокойную тьму серебряной иглой: то заплакал за стеною младенец. И сон-явь — всё это оборвалось. Тогда сердце Бухмина замерло опасно, повернулось — и заработало как следует, и ногам вскоре стало тепло: он ещё жил...

Старый поэт мог теперь лежать, ощущая чудесное движение кровяных покальвающих токов под кожей, и смотреть, бездельничая, во тьму над собой, в которой не было ровным счётом ничего.

* * *

Пониженный слух его не улавливал тревожного, знобкого трепета газетного листа на оконном стекле, морозного крепкого потрескивания в углу старого целинного жилища. Земля там, за окном, уже наполнялась ледяным гулом под стремительным воем окрепшей вьюги. Ветер задувал в оконные щели, сквозил, гулял по лицу поэта. Но оно, плохо и наспех умытое, словно задубело без привычного горячего купанья, оставшегося в невозвратном былом, и слабо воспринимало изменения, происходящие во тьме.

— Не так уж это страшно, Лиза, когда нет света, — медленно говорил он покойной своей жене, стараясь улыбаться; ему было важно, чтобы она не сильно переживала за него, опять вернувшегося с войны, повторяющейся в бараке ночами.

— Так даже лучше, если выключено — всё, — не слышал своего бормотанья поэт. — У тебя нет света, в земле... И здесь его тоже нет... Конец света, Лиза, наступает у нас тоже — каждый раз, когда отключает электричество кто-то, завладевший светом. Всем светом... Завладевший концом света... Теперь мне не видать, где мы были и зачем.

Старые глупые люди, они всё писали зачем-то жалостливые письма — одинаковые, в два адреса:

“Ребятаки, дорогие! Помните ли Вы, как вдвоём проходили практику в нашей газете, в Столбцах, и жили в нашей квартире? Мы с Лизой любили вас, как сыновей. Такие вы были спортивные комсомольцы! Это редакция наша давала вам рекомендации в партию, помните? Но вы давно уже большие руководители российской перестройки, и даже христиане. Наш голубой экран отразил вас однажды в пасхальном храме, со свечами, в ряду первых лиц государства. Помогите же нам, русским, выбраться как-нибудь отсюда, потому что теперь оказались мы, кажется, в туретчине, и что с нами дальше будет, совсем непонятно. Вот наши белорусы и один знакомый вам литовец из отдела писем, которого вы, наверно, не помните, уже уехали к себе, а мы сидим, нам — некуда...”

Пока тут политика терпимая, но при смене здешней верховной власти она может качнуться в сторону больших притеснений. Тогда нас никто не спасёт...

Ребятаки! Если очень сложно оказать нам помощь, так и быть: на нас наплюйте, а вот молодых жалко, они оказались не у дел. Вытащили бы вы их, присоединили бы к центральной вашей жизни!.. Всё-то вы говорите там про утечку мозгов за рубеж. А что же наши, здесь, без мозгов, что ли, все, если вам не нужны оказались решительно? Образованное ближее зарубежье вы, там, ребятаки милые, перечеркнули зачем-то, как неполноценное, и высокие умы здешние забраковали, и в таланте всем талантливым братьям, братьям вашим — отказали одним махом. Нехорошо! Грех вам там за это будет не прощаемый, грех и кара...

Не обижайтесь только на нас! Ладно? Молитесь на экранах, как молились. Но ещё подекажите хотя бы, ребятаки, что нам делать, как быть...”

— Вместо того, чтобы проклясть обоих, мы просили их о помощи... Эти письма заставляла меня писать ты, Лиза, а я не хотел, — выговаривал покойной жене Бухмин, часто моргая. — А они... Они предали наши с тобой победы... Пустили на ветер земли, политые нашей кровью... Но мы, Лиза, всё равно ждали с тобой ответа: а вдруг? Вдвоём, держась друг за друга, спу-

скались вниз по ступеням, проверяли почтовый ящик утром, вечером... Отчего мне так стыдно за эти наши письма? Ай, как стыдно... В слепом белом ящике была одна чёрная пустота... Как же долго мы ждали!..

* * *

Под щеками и за ушами поэта давно уже было сыро, мокро. Но слёз Бухмин не вытирал, чтобы движений, опасных для дивана, не делать и чтобы тяжёлой руки из-под одеял не вынимать.

— ...Нет, Лиза, так лучше гораздо: ничего не ждать, ничего не видеть, не быть. Ты зря боялась темноты: это — лучшее из того, что осталось на свете от всех наших войн, — говорил он без голоса, едва шевеля губами. — А худшее — это обман. Они обманули державу. Партийные мошенники. Мошенники во власти... А мы, глупые, старые... Мы с тобою писали врагам, Лиза... Мне померещилось, кто-то сказал: “Он победит грабящих. Он уже здесь”. Что-то в этом роде, в общем, прозвучало недавно надо мною, если я ничего не путаю... Но кругом обман, как верить словам? Тем более словам из репродуктора, которого уже нет...

Однако тут мысли Бухмина застопорились и, сделав неожиданный зигзаг, устремились по другому уже руслу.

— Я ведь тоже обманщик, Лиза, — шептал он. — Когда ты узнала, что мы в редакции пьём ночами белую веселящую водку с обесцвеченными, белоголовыми, веселящими нас женщинами из магазина, то сказала: “Пусть... Спать со мной — всё равно что спать с войной. Ты устал спать с войной. Ничего”. И стала стелить мне в кабинете, жалея и прощая. Ты всегда делала меня не виноватым! И всегда это тебе удавалось, Лиза... Но есть в жизни то, что я сам, кажется, не смогу себе простить. Я обманул юную девушку с пасмурными глазами. Она напрасно ждала меня после войны...

Лиза, ты, наверно, не поверишь, но она — здесь! Время, прошедшее с войны, мало изменило её. Она даже стала краше, гораздо краше! Уже не такая угловатая, напротив: теперь она очень ладная, даже чересчур. Есть такие точёные женщины, которыми можно лишь любоваться издали — так они совершенны. И тронуть их — всё равно что осквернить. Потому приближаются к ним лишь полные идиоты — ублюдки, которые не понимают святого. Так она выглядит теперь... Только всё равно я узнал её: у неё те самые глаза!.. Выбегает в тапочках на босу ногу и ждёт на ветру, под моим окном, какого-то коренастого мужичка, совсем не похожего на ценителя женской красоты...

Он неказистый, Лизонька; должно быть — из степняков. Они, ты знаешь, кривоногие, жилистые. И молчаливы обычно, но свирепы бывают, как осы, если их разозлить... Многое в нём — от нелюдимои местной степной породы, многое. Совсем он ей не пара...

Мужичок этот, Лиза, никогда не обнимает её, ждущую тут, под окном. И не улыбается он никому. Исподлобья глянет — и всё. Потом они идут в барак, склонив головы, как два старых человека...

Мы не были такими. И в голод, и в войну — мы не были такими угрюмыми... Но у него, у степняка, твёрдая косолапая поступь. Надёжная поступь. А я... Я... Я, Лиза, обманул девушку с серыми глазами...

Мысли старого Бухмина, однако, уже перепутались совсем, и шёпот его прерывался временами надолго.

— ...Тот, который возвращается откуда-то со стороны пустыря, Лиза, состарится очень рано, как и она, красивая, не нарядная, — беззвучно выговаривал Бухмин. — Я обманул её, потому что поехал не к ней...

* * *

Из-под колючего тяжёлого венка Нюрочка кое-как высвобождает руку и дотягивается до края коляски.

— Саня, сейчас, — покачивает она коляску во тьме, не просыпаясь. — Тш-ш-ш...

И не слышит, что ребёнок уже притих.

— Сейчас, — виновато шепчет она, качая. — Встану к тебе...

Нюрочка намучилась, как всегда, от работы, от заботы — и оттого, что опять приходили свёкор со свекровью. Они ели, и пили, и громко пели до вечера. А Нюрочка — вставшая ни свет ни заря и перемывшая гору бутылок, и перестирывавшая гору пелёнок, и навертевшая гору ярких бумажных цветов, и прикрутившая проволокой множество еловых лап на металлические остовы венков, — Нюрочка готовила, сновала из крошечной кухни в комнату и обратно, и подавала, подавала на стол... А Иван, сбегавший с двумя канистрами на далёкую станцию, потом — разведивший в корыте спирт с водою, розовой от марганцовки, и выгнувший из проволоки, и скрепивший столько веночных каркасов, наливал и наливал родителям самодельную водку одною рукой, на другой же держал Саню с осторожностью. Он следил за тем, чтобы крошечному сыну свет не падал в глаза, и всё поправлял край лёгкого покрывала над красноватым, сморщенным личиком, едва бутылка возвращалась на стол.

Родители мужа приходили теперь к ним на обед раза два в неделю, да куда же старшим Бирюковым было ещё деваться и на что жить, если комбинат закрыт, и свёкор больше не учётчик, а свекровь — не нормировщица... И пускай бы гостили! Нюрочке и Ивану ничего для них не жалко. Лишь бы свёкор ближе к вечеру не принимался грозить им пальцем и орать раздутым дурным голосом, багровея от негодованья:

— Ра-бо-тать на-до!!! Эх, вы. Барыги... Позорники. Спекулянты вы!..

Саня пугался на руках у Ивана и плакал так слабо, будто где-то вдали пищал малый котёнок, попавший в беду. Тогда Нюрочка переставала носить из кухни тарелки с едой. Но как возразишь справедливому свёкру, как утихомиришь его, если он прав? Она брала маленького к себе на руки и выходила в коридор, покачивая.

— А где нам зарабатывать, Саня? — тихо спрашивала Нюрочка младенца. — Не помирать же нам... Нет, нам с тобой надо жить... Тебе надо жить, Саня!

* * *

— ...Иди, иди, — успокаивала она вчера Ивана, уже одевающегося, уже поднимающего тяжёлую сумку с бутылками самодельной водки. — А то Пана Ионовна закроется и не примет, чего доброго. Я тут сама всех провожу, всё перемою. Может, ещё пару венков закончу до твоего прихода.

Иван спрашивал её глазами — и корил глазами: какие два венка, когда ты бледная и от усталости спотыкаешься? А она отвечала ему так же — глазами: за колючие венки в бюро ритуальных услуг платят копейки. Нет, надо сделать ещё хотя бы два. Сане к весне уже нужны будут башмачки и сапожки. А на водку надежда плохая. Спиртом на станции торгуют редко. Жди потом, когда придёт цистерна, и когда охранником при ней будет дежурить дядя Лёша...

Взглядом уговаривал её Иван: он сам, с раннего утра, сядет за венки. Посуду ночью перемоем... А она не соглашалась: лучше Ивану выспаться, отправиться спозаранок в похоронку — договориться насчёт еловых лап. Узнать надо, когда будет привоз, и записаться в очередь. Они там старые списки теряют, составляют новые, а потом кричат: "Не записывались вы на лапы!" И ничего не докажешь...

— У тебя завтра дел полно, — прижимая к себе Саню, говорила Нюрочка. — А я дома сижу. Ничего-ничего... Куртку сними, надень полушубок. Холодно... Спешу. Темнеет.

— Ляжешь пораньше, пальцы отдохнут, — всё топтался Иван у порога.

— Они после стирки хорошо заживают, — покачивала Нюрочка плачущего Саню, пятясь от порога — от холода. — Ничего. Иди.

И с опаской она смотрела на двери соседей, а свёкор кричал всё громче:

— Барьги! Дети наши! И нечего их защищать!..

— Тихо, Саня, — шептала Нюрочка над ребёнком, направляясь в комнату, чтобы на младенца не пахнуло стужей. — Не бойся. Ты со мной... Терпеть надо. Они — твои бабушка и дедушка. Давай их уважать... Проводим всех — и отдохнём. Уж как хорошо мы с тобой, Саня, отдохнём! Будем спать, спать! Правда? Спать без просыпа...

* * *

— Разве так живут? — продолжал негодовать за столом и буянить свёкор, и жилы на его багровой шее напрягались, как тугие верёвки.

— Это что, труд?! — показывал он на венки. — Срам. От людей стыдно. Вот, надо не спекулировать! Ра-бо-тать на-до!!!

— Куда — идти работать? — покачивала Нюрочка плачущего Саню. — Тш-ш-ш... Куда?

— А я говорю! Ра-бо-тать на-до! Хоть где!

Свёкор стоял на своём, ярился пуще. Он принимался колотить вилкой по столу, пока не получал от своей жены крепкий — и всегда неожиданный — подзатыльник.

— Перевоспитал детей? — грозно спрашивала бывшая нормировщица из-под седой своей пышной чёлки. — Наелся, харя? Айда домой, к пустому столу. Там я тебе добавлю пустым половником по твоей пустой балде. Ты сам — что не работаешь?

— Я сокращённый! — бил себя в грудь свёкор. — Сколько положено отмантулил! Я — так, как они, не жил. А грамоты получал, между прочим. Трудился на благо своей страны!

— Чьей — страны? — от насмешливости свёкровь закидывала ногу на ногу, и вышивала ещё, и отворачивалась, фыркая сильно. — Чьей?!

— Своей! Мать-перемать.

— Тебя какая страна сейчас накормила? — била его кулаком по сутулой спине свекровь. — Ты чью водку только что хлестал?! Передовик хренов.

— Чем такую водку пить!.. Лучше застрелиться, — расстраивался свёкор. И грозил со слезою в голосе: — Вот пойду и застрелюсь. Без промедленья.

— Опять обманешь, пустобол. А ну, двигай ногами! — кричала раскрасневшаяся свекровь. — Шагай, пока я тебе их тут не повыдергала!.. Пока ходить есть на чём — вперёд! Раз, два.левой!

— Всё равно застрелюсь, — упрямылся свёкор. — И сюда больше не приду. Не упрасивай. У меня тоже гордость есть, понимаешь. Я — рабочий человек! И мне за таким столом сидеть... большое западло!

Саня уже прижимался ртом к халату Нюрочки и губы вытягивал, постанывая. Молоко прибывало в ответ: грудь покалывало, распирало, ломило. Только хочет Нюрочка, чтобы крохотный её Саня сосал бы в тишине и покое, а она глядела бы на него, улыбаясь мирно, поглаживая тонкие волоски на синеватых нежных висках его.

— Потерпи, мальчик мой, немножко... Сейчас...

* * *

Родители мужа, однако, не уходили подолгу, препираясь и что-то объясняя всему свету.

— Гляди-ко, застрелится он, — дразнила мужа свекровь, поигрывая седыми бровями. — Ой! Не дождусь я того часа заветного, когда бы мои глаза твою честную рожу не видали бы.

— Нет, кто?.. Кто так зарабатывает?! — снова гневался свёкор, показывая на венки, развешанные по стенам. — Они — не дети! Они — пятно на мою рабочую биографию! Я их жизни такой — не одобряю!

— Марш! На выход! — кричала свекровь ещё громче, чем он, и толкала его в спину. — Не ори!

Свёкор спотыкался, но не падал, умея вовремя ухватиться за дверной косяк.

— А я говорю: ра-бо-тать надо!!! — багровел он пуще прежнего. — Руки прочь. Застрелю...

И всё было вчера, как всегда. И Нюрочка смотрела на них из угла спокойно, только прижимала Саню к себе — так, чтобы брань не касалась его; не вбиралась бы младенческим сознанием, не укоренялась бы в тельце — не превращалась бы в дурной, скверный навик.

— Ты не бойся! — приказывала ей свекровь. — Кого он застрелит? Разве что из-за угла. Видала наше ружьё? Он же его продавать понёс! А на него эти налетели, с микрорайона. Уж так они отнимали, и так уж он его не отдавал, что об угол дома ствол погнули, дураки... Кривая одностволка стала! Как кочерга. Его и бандиты не взяли, такое ружьё. Только тумачков нашему продавцу навешали...

Саню надо кормить, и давно подступившее молоко не находило выхода из Нюрочкиного тела. Оттого окаменела грудь, а на лбу её выступила мелкая испарина.

— Сейчас, сейчас, Саня, — пришёптывала Нюрочка над младенцем. — Недолго уже.

— Комедия, в общем, не жизнь! — хлопала свекровь Нюрочку по плечу. — Слышишь, чего говорю? Не бойся!

— Слышу, — кивала Нюрочка торопливо. — Сумку с продуктами не забудьте. Там рыба для вас. Иван у частного покупал. Её в холодильник надо сразу. Приходите ещё.

— Нет! До среды не ждите, — обещала свекровь великодушно и позёвывала широко, со вкусом, накидывая пальто и нашаривая рукава невпопад. — Наелись на три дня вперёд. А от этого, бесстыжего, слова доброго ты, Нюра, не дождёшься, как и я за всю жизнь не дождалась. Ладно, отдыхай! Потопали мы...

Она забирала тяжёлую сумку, верхнюю одежду мужа, выходила первой, отодвинув его плечом, и запевала в коридоре высоким дребезжащим голосом:

— Ой, цветёт калина — в поле у ручья. А парыня маладова... Ты, старый! Давай вторым: а парыня маладова!..

— Какая Молдова? — мотал тяжёлой головой свёкор. — Она теперь не наша.

И долго ещё изумлялся за дверью:

— Вот дура баба! Какая Молдова? Молдавия!.. Была, цвела, жила богато! Когда-то.

* * *

— Продали, сволочи, республики все. Тут ружьё никак не сбagriшь, а они... — шумел свёкор там, в коридоре, удаляясь. — Ещё бы жену кому-нибудь всучить, хоть забесплатно, так нет. Мы не умеем! Не приучены. А дети, вон они! Спекулируют, барыги! Научились дурную деньги зашибать... Но я их предупредил! Так не жи-вут! Рабо-тать на-до!!!

...Он ещё кричал что-то на выходе из барака. А Нюрочка в своей комнате уже кормила Саню — присев на табурет и скорчившись, чтобы не тянуло швы.

— Видишь, всё утихло, — гладила она младенческий нахмуренный лобик. — Саня мой. Саня...

Но из коридора уже доносился другой нехороший разговор. Там рослый внук старика-азиата опять перечил учительнице — тот, с сизыми кулаками, с лицом плоским и тёмным, будто сальная сковорода:

— ...Ну, вышел. Хочу — и сижу. Напротив её двери. Ну, на корточках, а что? У меня тут дед живёт. А эта... Всё равно моя будет. Не будет — ей же хуже: в чуханы волчонок её пойдёт, в оборванцы.

Это он — про Нюрочку и про грудного Саню, мясной тяжёлый парень с чутунной головой и масляной поволокой во взоре.

— Ничего, мой маленький, ничего, — одну руку Нюрочка опускает в карман халата, не переставая кормить; пальцы её крепко охватывают гладкий тяжёлый металлический шар, который всегда при ней, когда дома нет Ивана. — Ничего, мой хороший.

— ...В подземном цехе из бочки с раствором дышать будет волчонок, балдеть, — не унимается котлоголовый парень. — Там беспризорных много. К друзьям пойдёт. Скоро.

Если сейчас Нюрочка выйдет и ударит стальным шаром, зажатым в кулак, по широкому темени бандита, то проломит его ненавистную башку наверх. А после этого ей останется только сесть в тюрьму. И что тогда будет с Саней? Нет, надо терпеть, терпеть, терпеть — и ничего не говорить Ивану... Только стальной шар, оттягивающий карман тёплого халата, у неё всегда наготове. Он, тяжёлый, теплеет от её пальцев, перенимая температуру тела. Да, у металла, и тела, и молока — общая теперь температура, будто сталь и Нюрочка — одно целое.

— Тише, Саня, крохотный мой, — кормит она ребёнка, прижимая одной рукою. — Скоро папа твой вернётся. Скоро... С ним станет спокойно... Без него совсем покоя нам нет, а с ним... Раста...

Молоко уходит, перетекает, поглощается, соединяя мать и дитя, словно у них снова общее тело. Сталь, согретая материнской рукою, сама Нюрочка и младенец сейчас — одно целое... Младенец, Нюрочка, сталь...

— Раста, Саня. Придёт наше время. Когда-нибудь. Слышишь?... Оно так долго не приходило! Так долго, что... Придёт.

* * *

Храбрая учительница Тарасевна толковала меж тем в коридоре дрожащим, напряженным голосом:

— Надо всем по-доброму жить, по-соседски! А ты придумал — ерунду! Женщин кругом полно. Тебе что, других мало? Ребёнок у них... Мужу куда деваться? Оставь людей в покое, если ты умный человек!

— Я говорил ему, чтоб уезжал по-хорошему? Говорил. В Россию пускай пилит белобрысый. Белоглазый.

— Ври кому другому, — ворчала Тарасевна и похаживала там, за стеной, громыхая алюминиевым ведёрком. — Ничего вы напрямую не скажете, исподтишка вы храбрые. И гурьбой на одного. Знаю я вас... Мне — не ври! Говорил он...

— Много раз говорил! — обижается бандит. — А эта... Эта мне ребёнка родит, я и русского волчонка тогда не трону. Пускай живёт. Мне не жалко... Если наши законы плохие, тут никого не держим. В другой закон пусть бегут — мы не против.

— Да уж ездили они в Россию. Кому они там нужны... Не к кому ехать! Никто нам не поможет, нигде...

Прислушивается Нюрочка к словам за стеною, кивает, склонившись над младенцем: все помогающие — сами давно обобраны в России разорённой. И сердобольные — выкинуты из своих домов... А богатый бедному нигде не помощник... Всё то же там, что и здесь! Беспризорники, и нужда, и бандиты. Бандиты вверху, бандиты внизу. Нет милостивым в России приюта — ни местным, ни приезжим...

— Так-то, Саня. Раста.

* * *

Табачный дым вползает в комнату — змеясь, извиваясь. Ниже склоняется над младенцем Нюрочка, прикрывая его собою.

— Эй! — негромко окликает её бандит, но не входит: он думает, что дверь заперта. — Упрямая, да? Чухан будет — ребёнок твой. Игла, игла... Лучше открывай.

Сальный бандит совсем рядом — он шумно сопит в коридоре. А Тара-

севна побежала на улицу со своим ведром. И тихо в комнате старика-азиата; ухромал, должно быть, под вечер в степь, к далёким могильным мазарам. Один из них стал домом двух его сыновей, рождённых когда-то для строительства коммунизма... Но сыновья старика мертвы. А внук его, пахнущий парным мясом, жарко дышит в коридоре, переступая с половицы на половицу. И табачный дым вползает оттуда волнами. Они, длинные, сизые, шевелятся возле младенца, поднимая змеиные головы.

— Старуха велела по-хорошему жить! Эй? По-соседски... Почему не отпираешь?.. На иглу сядет волчонок. Этого хочешь?.. Мой брат сам подсел, твоему волчонку — поможем. Со временем. Кайфовать будет, балдеть... Решай давай!

Крепче сжимает Нюрочкина рука в кармане тяжёлый металлический шар, перенимающий тепло её — и тревогу, сдавленную до немыслимой плотности. Ещё немного, и плотность металлического ядра станет так велика, что улетит в обидчика сама собою.

— Открой, сказал! — стучит по двери бандит, теряя терпенье. — Совсем уважать не хочешь, да?

Если слабая женская рука не сумеет удержать при себе шар, то, перегревшись, металл выйдет из-под управления — он улетит в висок притеснителя... Уплотнившаяся материнская стальная тревога поразит притеснителя насмерть... Любого, кем бы он ни был...

— Откроешь? Нет?..

Нюрочке надо быть сильнее своей тревоги — чтобы удержать блестящий шар. Нюрочке надо быть спокойней себя — чтобы шар не перегрелся в руке... Нюрочке надо быть...

Дёрнулась ручка двери и уже провернулась. Но... металл не должен стать сильнее Нюрочки, стиснувшей тревогу в руке.

* * *

— Вот! Куришь ты здесь, в тесноте! Зачем? — раздаётся в коридоре крик Тарасевны, вдруг вернувшейся с улицы. — Там — ребёнок, у меня — внучка в комнате. А ты что делаешь? Крутом щели...

— Я везде хозяин! — ворчит бандит. — Курю, где хочу. Где не хочу — не курю.

— А венки если загорятся? Подожжёшь барак, её муж тебя убьёт. Он ведь придёт с минуты на минуту! — храбро врёт учительница в коридоре, уже постукивая шваброй по полу. — В прошлый раз без него ты набезобразничал, венки посшибал, истоптал. А ну, если он узнает? И что начнётся? Поножовщина, а там — суд.

— Я руки не мараю. Другие справятся. Скоро.

— Почему соседке прохода не даёшь? Я же милицию никогда не вызываю, по-доброму с тобой говорю, как умному человеку: прекращай.

— Сегодня вызовешь, завтра я в твоей квартире жить буду. В милиции наши люди есть! Везде есть!.. Вернётся скоро Бирюк её, говоришь? — лениво посмеивается бандит. — Посмотрим! Успеет или нет... Ночь тёмная будет... Сам на нож наткнётся в овраге. Тогда не выскочит, наверно.

Но тут парень взвыл так, что Нюрочка вздрогнула. То охаживал его в коридоре хромой старик-азиат. Лушил внука посохом по хребту, выкрикивал высоким голосом, похожим на клёкот, ужасные нерусские ругательства, искажая от гнева слова:

— Не приходи! Нога твоя тут зачем? Бандит, понимаешь... У-у, дрянная порода. Сволочь...

Наконец опять хлопнула общая дверь — на улицу. Шум отъезжающей чёрной калоши удалился вскоре от барака, стих совсем. И Нюрочка перестала сжимать тяжёлый шар. Она вытерла пот со лба.

Опять спас её старик. Прогнал наглого, постылого. Пахнущего сырым мясом — выставил, поколотил...

— Видишь? Хорошо всё, Саня, — гладила вчера вечером Нюрочка при-

тихшего младенца, замершего от опасности, и застёгивала халат на груди. — Тебе спать надо... А я со стола уберу потихоньку. За венки сяду... Дедушка бы только этот подольше пожил! Чужой, старенький совсем, а видишь — защита нам. Помрёт если, как бы не заплакаться нам с тобой досыта... На кого надеяться нам, Саня, когда одни мы дома остаёмся? На дедушку твоего с ружьём? Очень правильный дедушка у тебя. Только вот ружьё у него — кривое... И всё-то у нас кривое, Саня. Всё...

* * *

Но кривое было не всё. Раздался лёгкий стук в дверь.

— Можно ли нам? — ввела Тарасевна за руку внучку девяти лет. — Вот, Полина, посмотри, какой маленький тут у нас, в бараке, народился.

Полина была девочка приветливая — в коричневом платье вельветовом, длинном, причёсанная гладко, на пробор, — и стеснялась проходить. Однако на красное личико Сани посмотрела всё же издали, привстав на цыпочки.

— Хорошенький... — неуверенно сказала она, теребя косицу.

Нюрочка обрадовалась Полине и тоже полюбовалась своим Саней.

— Ты сама-то хоть поела? — Тарасевна окинула неприбранный стол многоопытным педагогическим взором. — Тебе за двоих есть полагается, ты — мать кормящая... Полина! Неси-ка посуду на кухню, помоги!

— Я — потом, — слабо улыбалась Нюрочка. — Отдохну только минут пять. Не надо...

Но Полина уже старательно и с большою охотой собирала тарелки.

— По две носи! — командовала Тарасевна. — Уронишь...

— Да вы садитесь, — предложила Нюрочка из пустой вежливости, зная, что соседка так и будет стоять около двери, будто около классной доски.

Тарасевна только махнула рукой:

— Ничего... Ну, что? Немая не появлялась? Давно в милиции заявление моё лежит, а толку нет... В овраге, где карьер осыхает, опять китайца задушенного под глиной нашли. Без денег, без документов. Кто такой, откуда — никто не знает, — перетаптывалась учительница. — Ну, китайцы — они мелкие сюда проникают. А наша немая — здоровущая! Семеро не укокошат... Может, в рабстве её держат? Говорят, с юга опять большую бригаду рабов пригнали, дворец в Гнезде строить и солярий какой-то. Молодые, вроде не цепях. Ты не слыхала?

Нюрочка молчала, прикрыв глаза: ей надо вырастить Саню. Внешний мир, опасно просторный, хочет, чтобы она воспринимала его, растрчивая себя на чувства, не укрепляющие Саню. А этого Нюрочке не положено...

— На цепь нашу немую посадили! Не иначе, — беспокоилась Тарасевна. — Верёвку она бы перегрызла... Я так думаю. А ты?

И снова не отвечала Нюрочка; она должна сохранять себя — для Сани, дремлющего на коленях, совсем ещё не окрепшего. Её жизни должно хватить на то, чтобы...

— Уж не там ли она? — расстраивалась Тарасевна в одиночку. — А не подойдёшь, не проверишь. Автоматчики стоят... И как нам быть?

Но нельзя Нюрочке вовлекаться в напрасную трату сил, расходовать их на лишние слова — нельзя. И она только пожимает плечами в ответ.

— Полина! Ещё вилки прихвати! Одна под столом валяется, — распоряжалась учительница. — Подбери... Вот какой дикий режим к нам заявился! Зачем он? Рабовладельческий?... Он хуже того, который был!.. Скажи, Нюра: кому это надо было? К нам его завозить? Режим этот отсталый? А?

— Не знаю, — Нюрочкиных усилий должно хватить на то, чтобы вырастить Саню, сохранить, выучить, и тогда он сам решит, что нужно делать с этим миром. — ...Опять новый передник у вас?

Довольная своим видом, Тарасевна погладила себя по животу.

— С вопросительным знаком, — сказала она. — Благодетель, депутат, мне этих передников надарил — видимо-невидимо! Нет, всё-таки не режут нас тут, как овец! Не то что на Кавказе. И не в цепях мы, русские, здесь живём, в Столбцах наших!.. Немая только куда-то запропастилась. И всё...

А зачем я зашла? Сказать зашла: завтра мне в день сторожить. Зато послезавтра дома буду. Если тебе в магазин сбежать надо, я за маленьким тогда опять пригляжу. Защищит — качну коляску, будь спокойна. Только вот завтра — не смогу: работаю.

* * *

Тарасевна дождалась, когда девочка снова уйдёт с тарелками на кухню, и зашептала от порога:

— Как спать ложимся, она на молитву встаёт. И утром тоже. А я без единой молитвы всю жизнь прожила... В монашки бы не ушла Полина, этого боюсь. И ведь книги какие серьёзные приносит! Читаю без неё — и не разберусь. Вот антихрист — он человек? Или кто?

— ...Когда хорошее считается плохим, а плохое хорошим — это царство его, — ответила Нюрочка неохотно.

— Оно уже не только его: наше! — с чувством произнесла Тарасевна. — Всё земное царство — такое... Шиворот-навыворот и мы теперь живём: всё! Вписались!

— Так мой дедушка про это говорил. А про остальное...

— И я про остальное не знаю! С одной стороны глядишь, религия нужна — чтобы народ в узде держать. С другой стороны глядишь — она вся на наше угнетение. Ты-то как считаешь? — ожидала ответа старая Тарасевна, переступая с ноги на ногу в нетерпении.

Но с осторожностью отирала Нюрочка подбородок младенца проглаженной белой тряпичкой и улыбалась, не сводя с него глаз.

— ...Вот! Без немой и поговорить в бараке не с кем! — хлопнула себя по тощим бокам Тарасевна. — У твоего-то мужа я про это не спрошу! Не за начитанного ты, Нюра, вышла. Не обижайся. А только грубая порода его, простая. У тебя одной спрашиваю: для угнетенья нашего молиться нам разрешили?

Нюрочка пожала плечами, не поднимая склонённой головы.

— Мы водкой торгуем, — покраснела она. — Нам про высокое думать нельзя. А если по книгам... На наше угнетенье то, что делается не по религии. Так, наверно.

* * *

Разговора не получалось. И оттого немного томилась Тарасевна, поглядывая с порога в две стороны. Но в коридоре ничего особенного не происходило, а ответы Нюрочки казались ей куцыми, вялыми: на троечку с натяжкой.

— ...Из-за водки вам виноватиться перед нами — нечего! — рассердилась тогда учительница. — Кому не надо, тот не напьётся. Вот Иван твой — и при водке, и трезвый всегда. А кому выпить надо — вы тут при чём? Зато голодом не сидите! Не как другие бестолочи. Зятя бы моего научили — так зарабатывать, чтоб самим обутыми, одетыми быть и ещё родителей подкармливать... Нечего краснеть, если время такое пришло! Наоборотное. А всем, всем — присосабливаться надо... Полина! Стаканы поставь назад! Блюдо носи одно, с крышкой вон той.

Тарасевна снова дождалась ухода Полины.

— Это свёкор вас затюкал. Застыдил. А сам — никакой не рабочий класс!.. Он, когда партийный был, горнякам часы урезал, из принципа! А они ведь таких фуфайками душили... И этого, вашего, тоже — прижали разок возле конвейера. Не до конца, правда, а рёбра-то ему намяли. Если бы парторг не подошёл — уехал бы он по ленте, вместе с отработанной породой, в отвал, свёкор ваш распрекрасный... Потом кровью долго харкал, законник! Но я скажу тебе прямо: во всём твоя свекровь виновата, квашня: не пресекает... Распустила его. Да ещё сама рюмочку любит: по всей пьёт! В нормировницах разбаловалась. А ты их, Нюра, привлекаешь!

— Они эту комнату сохранили для нас, — покачала головой Нюрочка. — Не продали её. И для свадьбы все деньги с книжки сняли. Вот, сами теперь ходят без гроша... Нет. Они для нас всегда хорошие будут.

— От глупости они хорошие, не от ума, — опять не согласилась Тарасевна с Нюрочкой. — Эти их глупости я у себя, за стенкой, слушать устала! Орут у вас, как резаные. Повадились...

И так — сердиться, командовать, поучать — Тарасевне нравилось. Она будто опять стояла перед классом и распоряжалась всем и всеми. Неудобство же было одно: едва она разводила руки пошире, повывразительней, как тут же венки, висящие на стенах, напоминали о неизбежном её кладбищенском будущем, совсем близком. Уколовшись, Тарасевна поглядывала на жёсткую хвою неодобрительно, но речи не прерывала, как не прерывала она никогда своего объяснения, усевшись на подложенную учениками кнопку.

— ...Из-за тебя только, Нюра, гостей ваших терплю. Гляди, если надо, я ведь их так рассобачу! Они — не титульная нация, чтобы с ними чикаться. Разгону вмиг!

* * *

Нюрочка положила Саню в коляску и тоже принялась убирать со стола, вместе с вернувшейся Полиной.

— Тебе, девонька, дышать надо больше, — толковала Нюрочке Тарасевна. — Что это? Под глазами круги тёмные... Так дело не пойдёт. Притворяться учись! Голова, мол, болит. Без этого нам, женщинам, нельзя. А то до смерти укатают и не заметят. Я вот глупая была — не притворялась. И семью потеряла из-за этого, и дочь не хитрую вырастила, не активную, а рохлю. Она ещё в комсомольской жизни плохо участвовала и вот — стала порабощённая своей семьёй... Что, совсем замучилась?

— Ничего, — не принимала её сочувствия Нюрочка, ставя солонку, сахарницу, перечницу на поднос. — Всё-всё, теперь я сама.

Девочка остановилась в нерешительности. И Тарасевна спросила её с внезапным острым любопытством:

— Полина! Как жить надо?

— ...Чтобы никому не повредить, — немного растерялась девочка. — Чтобы ничего не повредить.

— А если муж тебе глупый пьяница попадётся, и будет он водку пить да кричать? Чего ты, внученька, тогда делать будешь? С безобразником с пьяным таким?

Девочка смутилась и опустила голову низко, теребя коричневый бант.

— Ну, до свиданья, — распрошались было Тарасевна. — Нюра, поешь! Сейчас рухнешь — голодная заснёшь!.. Своё молоко ребёнок из тебя потом всё равно вытянет, а сама — с чем останешься? Пустая? Без силы?

Девочка, наконец, продумала всё как следует, откинула косу на спину и ответила с большим опозданием:

— Терпеть буду!

Нюрочка и Тарасевна долго смотрели на Полину. Обе молчали. И свет погас внезапно.

— Тогда терпеть буду! — звонко повторила девочка во тьме. — Если пьяница... Если безобразник — тоже.

* * *

Две нечищенные картофелины, залитые водой, остались в ковше недова- ренными, на электрической холодной плите, и теперь спящему Бухмину хочется есть. Слышится ему во сне какой-то шум, который то истончается до звона в ушах, а то спадает до шипенья, монотонного, заунывного. И вот уж кажется ему, что бужуется, посвистывает на просторном кухонном столе, в прежней его квартире, электрический сияющий самовар, и старенькая Лиза

топчется возле плиты, перед кастрюлей, в которой клокочет картофельный густой суп с укропом, а на раскалённой сковороде шипят, потрескивают, плавятся куски свиного нежного сала.

Вдыхает спящий Бухмин сытные эти запахи с наслаждением, от которых кружится его голова. Но, поперхнувшись слюною, закашлявшись, просыпается некстати. Такой сон лучше было бы досмотреть — мирный, домашний, — и понежиться в нём ещё хоть немного...

Теперь спасительная равнодушная тьма, в которой не было ровным счётом ничего, сменилась тьмою, дразнящей поэта виденьями былых застолий, привычных когда-то. И большие тарелки с мясными пухлыми пирогами, испечёнными Лизой, плывут вдоль дивана чередой, благоухая в чёрном воздухе нищеты. А там уж на открытой террасе, за которой шумит отпускное море, готовят ему красную рыбу. На полученный за новую книгу гонорар отчего же не погулять?

И подают неспешно Бухмину бокал сливового китайского ледяного вина. И ставят на скатерть, рядом с корытцем белых маринованных грибов, фарфоровый лоток с горкой солёных жгучих перцев. И золотой сладковатый соус ткемали поблёскивает в хрустале, под круглую серебряную ложницей.

И вот несут, несут уж на обширном блюде целую отварную севрюжку голову, горячую, осыпанную легкомысленной волнистой зеленью. А другое блюдо — с розово-серыми севрюжьими ломтями, уважительно трогает вилоккою волоокая женщина — мимолётная, перегревшаяся на южном солнце, с волною серых волос на розовом обнажённом плече...

Она сидела перед бокалом шампанского, без имени, без судьбы, но с круглыми пылающими коленями, шершавыми, как персики, и, кушая персики, вздыхала осторожно: “О, как же тяжело писать стихи!..”

Сейчас Бухмин улыбался ей — из далёкого, пустого, ограбленного времени: рядом с музой — нет, не тяжело. Рядом с сытою музой... Только теперь и музы, видно, так оголодали, что нет от них никакого проку. Смолкли стихи, пропали песни. И носятся по свету одни обрывки грохота, лязга, похабины... Обрывки, ошмётки, осколки...

Бедные тощие постсоветские музы! Во времена правителей, умеющих только богатеть без оглядки, не излечиться вам от бесплодия. И скоро лишь вой, сплошной вой пошлости будет метаться над кладбищем муз, скончавшихся от дистрофии...

Музы теперь тоже — блокадницы, как блокадники — все честные люди...

* * *

Старому Бухмину захотелось вдруг до слёз пожаловаться на всё — матери. Без всяких слов, а только одним прикосновеньем! Уронить бы голову в её колени, обнять бы юбку её и так лежать в оборках безмолвно, поджавшись, притихнув. А она, всё понимая, заговорила бы, от сердечного точного сопереживания, совсем о постороннем — совсем о другом. Как лисица уводит охотника от малых лисят в норе, так матушка уводила бы от него боль.

— Иволгу не уследишь, — мирно гладила бы она его по макушке. — Иволга — как лимон. Туда-сюда подлётывает — и поёт! Я люблю, как она поёт... Фиу-лиу! Фиу-лиу!..

И тихой радостью веяло бы от её простой речи. И слушал бы он дальше милый голос. А матушка бы всё говорила над ним, старым, — про далёкое, необязательное, просто так...

— Она, Федя, яблоки клюёт — только с красного бока. Иволга... Красненькое увидит и тут же подлетит — сейчас же клюнет... А сизоворонка — голубая, красивая, ну — такая неряха! Из гнезда у неё пахнет, и вокруг понакидано...

— Что понакидано?

— Да так. Ничего. Ты про иволгу лучше думай! Как поёт! Подлётывает... Чистая она! Про опрятное думаешь — и жизнь опрятным бочком к тебе сразу поворачивается, красненьким. Вот про неё надо, про иволгу...

Ну, мне, Феденька, пышки сажать пора. И дрова прогорели, и тесто подошло. Ты далеко от дома не убегай! Пышек дождись. Они — бледные в жар нырнут, а из печки вынырнут — красивые, румяные, пышные! Хорошие... Вот жизнь какая переменчивая, Феденька: моргнёшь, а всё уже — другое... Только не убегай, Федя, далёко! Слышишь?.. От дома — не убегай!..

* * *

А ещё, помнится, съел Бухмин как-то дома, подростком, в один присест, круглый огромный курник, только что вынутый из печи! Сел перед ним в сильнейшем любовном расстройстве, снял под взглядом улыбающейся матушки сплошную румяную сдобную крышку — и задохнулся от запахов, которым исходила, послойно, сочная начинка!

Куриное мясо млело на самом дне пресного пирога. Тонкие бруски картофеля, заложённого сырым, укрывали его сплошным нежным пластом. Затем на длинных полосках притомившейся жирной свинины разместились кубики наперчённого лука, а выше — полоски телятины, опять — картофеля. И поверху — снова белело куриное мясо...

Как же хорошо было, глотая слёзы отчаянья, черпать всё это деревянной ложкой и заедать душистой снятой тестяною коркой, подпаренной изнутри, а там уж отламывать боковые стенки курника — похрустывающие, румяные, добираясь постепенно до нижней, донной, влажной от жира, после которой вешаться от несчастной любви уже становилось тяжело, а топиться — и вовсе сложно...

О, благодатная сытость совсем не располагала к тому, чтобы срываться из-за стола, решительно вышагивать по жаре и, отмахиваясь от звонких комаров, продираться к Иртышу сквозь душный краснотал, с мрачною думой на юном челе...

Но что курник — первейшее матушкино бессловесное утешенье после нелепых драк и хвостатой, красноголовой двойки-пиявки? Горячий котелок с перловой увесистой кашей, приготовленной фронтовою кухней, опорожнил бы сейчас Бухмин за милую душу, даже если бы не было в ней американской бледной тушёнки, полупрозрачной от приторного казеина и пустого крахмала...

Натошак лежать в бездействии скучно. Ночь голодных длиннее самой их жизни. Пустая ночь неизбывна, бесконечна. И не пошарить сейчас на близком столе, нащупывая буханку, не отломить от неё шершавый краешек, потому что вчера Бухмин не сумел купить хлеба, а корки вдруг съел все — в смятении и тревоге...

* * *

Накануне перелома погоды с осени на зиму с ним творилось непонятное — впервые за всю барачную жизнь Бухмин не стал дожидаться глубоких сумерек, а расхрабрившись необычайно и отправился в магазин среди бела дня, чего раньше за ним не водилось.

Да, осмелевший поэт сошёл с крыльца, радуясь горько, что удаётся ему оставаться здесь никем неузнанным — и печалась от того: как же он изменился! Но когда пробирался Бухмин потихоньку вдоль барачной стены, преодолевая слабость в коленях, пожилой мужик с кривым ружьём вырос вдруг перед ним и толкнул в плечо с большою силой.

— Вон! Они! — разгневанный человек указывал в запредельную даль. — За трактом! Стоят!

— Кто? — перепугался Бухмин, едва не упав на спину.

— Про-сти-тутки! — сказал человек напряжённо, играя желваками.

Бухмин, прикрыв лицо дрожащей рукою, попытался обойти его:

— Мне... Тороплюсь... Я...

Однако мужик не дал ему хода:

— Нет! Слушай, товарищ! В прошлом году жена моя в район уезжала. Проводил — иду мимо них: стоят! — От огорчения человек с кривым ружьём сдвинул шапку на затылок. — Прост-ти-тут-ки.

Бухмин сделал ещё одну слабую попытку обойти мужика и, перебирая руками по стене барака, даже успел сделать несколько мелких шажков, как вдруг устал от волнения и сник.

— Хотел я сказать им пару слов, — ухватил его мужик за рукав драпового старого пальто, притягивая к себе рывком. — Но вижу: стоит среди них одна. Ангелоподобная! Юная. Ангел, ангел. Совсем дитя! Создание небесное... “В первый раз? Как зовут?” — спрашиваю сурово. Стесняется, невинная: “Алина”. “Пойдёшь со мной?” Кивнула, пошла. А те, прожжённые, крашенные, орут ей! Про-сти-тутки... “Дура! Не видишь? Он козёл! Без денег!”... Замешкалась, непорочная, замялась. Тут я её — за плечи! И повёл. Через тракт, через улицу, через пустырь. К себе. Идёт, идёт со мной, по холodu, на край света. Безропотно... Юбчонка — со школьную тетрадку. А сама — ангельчик! Чистый ангельчик!

Бухмин уклонился всё же от решительного взгляда человека и от напористого его дыхания — отвернулся к стене, съёжился, обер. Так притворяется дохлым испуганным таракан в минуту опасности — так серый паучок сжимается и не бежит уже никуда под тенью занесённого над ним веника домашней рьяной хозяйки. Мужик, однако, не думал замолчать.

— Привёл её в квартиру, жду! — настойчиво дёрнул он Бухмина, пытаюсь развернуть лицом к себе. — Будет она раздеваться передо мной или нет? “Почему у порога стоишь? — спрашиваю. — Начинай!”... И тут отчитал её по полной программе: “Что же ты, Алина, творишь? Личико у тебя чистое, глаза ясные. А сама? Готова за деньги подарить свою комсомольскую невинность любому несознательному беспартийному псу? А если бы не я тебя привёл, а другой, что бы он с тобой вытворял сейчас?” ...Денег у меня, как назло... Обшарил углы, нашёл я мелочишку. На пиво хватило бы, между прочим... “На! — сказал. — Вот! Бери всё, что у меня есть! ...Иди! И больше — не греши-и-и!” Взял за воротник, да и вытолкал пинком. Чтобы знала, как блудить. Алина, калина...

* * *

Мужик всё грозил и грозил перед лицом Бухмина коричневым толстым пальцем. Поэт не выдерживал неотвязного взгляда и зажмуривался снова.

— “Я не воспользуюсь тобой!” — сказал. “Я не из таких!”... Ушла, ангельчик, со всеми деньгами моими! Мальми, но — честными!.. Оружие купить не желаете? Его только в мастерской подправить. И пали — не хочу!..

— Не хочу... — словно эхо, отозвался поэт, кособочась опасливо, неприязненно.

— А возместить бутылку пива?

— Какого пива?

— Того! Потраченного мною на сохранение невинности чистого существа!..

С этими словами мужик пропал вдруг со своим кривым ружьём, словно провалился сквозь землю, уловив нечто неблагоприятное.

Бухмин открыл глаза не сразу. Прямо перед собою он увидел чужое окно. В этом окне злобная старуха с отвислыми щеками, в шапке, похожей на тугой шлем, устала на него сквозь стекло узкие зрачки, острые, как два булавочных острия. Но руки её двигались каким-то круговым образом; она медленно снимала чёрную тряпку с трёхлитровой банки, наполненной пузырящейся коричневой жидкостью. В банке же лежало на дне чудовищное осклизлое живое существо...

И понял тогда опарашенный Бухмин, что это возвращается старухой на подоконнике, скрываемое тряпкой от всех, не какая-нибудь таинственная домашняя мерзкая медуза, а всё разрастающееся желеобразное всеобщее *терпение*... Но в нём, прямо перед напряжёнными глазами Бухмина, уже зарождалось совсем слабое, мутное, малое пятно, которое было чуть светлее осклизлой массы. Оно росло едва приметно и принимало багровый тревожный оттенок.

Коричневая тьма вокруг пятна высветилась вдруг свинцово-серым ободом, словно в желеобразном существе образовалась жадная, сосущая воронка...

И ужас объял поэта. Не помня себя, он засеменил к своему крыльечку, за угол, и, запершись, не стал раздеваться, только прислушивался к шорохам, стукам, скрипам за стеною и вздрагивал.

Отыскав на столе сухую хлебную корку, он посасывал её какое-то время взволнованно, беспокойно. Потом понял, что ему надо бежать из барака немедленно — в прошлую жизнь, в жизнь. Из времени бесплодных муз — в свой кабинет: с пишущей машинкой “Украина”, с пледом, с низким плюшевым креслом. Или в тёплую спальню с ночною тусклой лампой в виде бездумно улыбающегося жёлтого полумесяца...

Не заперев своей комнаты и не дососав корки, причмокивая на ходу и отираясь, Бухмин кинулся вон из барака. Он снова бежал к своему старому дому, как бежит выброшенное за много вёрст от прежнего жилища животное — собака или кошка — безотчётно, неуклонно, неостановимо; в тот дом, где ничего не изменилось.

Он бежал в прошлое, не желая ничего понимать и помнить. Он бежал...

* * *

Лишь в прежнем своём подъезде Бухмин перевёл дух, когда попал наконец в мир привычных запахов, в милый полумрак... Успокаиваясь понемногу от вида знакомых запылённых стен, поэт стал медленно взбираться со ступени на ступень, поглаживая с нежностью деревянные нечистые балясины на изгибе перил. И усталая, мечтательная улыбка блуждала теперь на его расслабленных губах.

Поджарый молодой юрист с пятого этажа поравнялся с ним на лестнице. Бухмин, приостановившись, уставился на письма, сияющие на его куртке: они, сплошь иностранные, переливались, блистали нестерпимо, но оторвать взгляда от них поэт почему-то не мог.

— А ты — ого-го! — проговорил юрист одобрительно, перескочив с пустым ведром на верхнюю ступень. — Не то, что нынешнее племя! С кралей ребёнка, значит, прижил, ветеран? Вот это — ого-го-го!

— Я не приживал никого, — покачал головою Бухмин, доверчиво глядя вслед юристу. — Это был обман.

— Слыхали! Сладострастник, — погрозив пальцем сверху и гогоча, юрист легко взлетел по ступеням следующего этажа; тугая законодательная пружина, уверенно сидевшая в нём, сообщала всем движениям его удивительную ловкость, весёлость, прыгучесть. — Ого-го!..

Бухмину стало стыдно отчего-то. Расстроившись, он замешкался, держась за подоконник, около которого отдыхал когда-то с тяжёлыми сумками, возвращаясь по выходным дням с базара.

— ...Вероятно, он говнюк, — нерешительно утешил себя старый поэт. — А может быть, просто задорный человек.

Тогда за его спиною появился неслышно бывший шофёр горкомовского гаража — сосед из квартиры напротив, с которым Бухмин ездил на встречи ветеранов, и на конференции, и в степь, на майские вольные гулянья. Правда, горкомовская “Волга” давно уж исчезла со двора...

* * *

Новое начальство — то, что возглавил директор городского рынка, — уволило старых шофёров из гаража в одночасье. И важный, осанистый Винниченко сначала торговал на углу китайской жвачкой, продавая её детям поштучно из большой картонной коробки, а позже, когда его избили ларёчки, сидел дома без дела.

— Не появлялся бы ты здесь, у нас, Фёдор, — сказал Винниченко Бухмину, поглядывая по сторонам. — Понимаешь, с кем связался?... Нынче кто

не вор, тот жертва. Либо — либо. Других нет... Маячишь тут, глаза мозолишь всем. А результат получится плохой. Могут ведь подумать, что ты квартиру свою вернуть замыслил.

— Коля! — обрадовался соседу Бухмин, собираясь поведать о многом. — Я думал, друзей у меня не осталось! Понимаешь, стоит лишь оказаться в беде, и вокруг тебя образуется пустое пространство. Сразу же! Пустое, безлюдное. Отпадают друзья. Отпадают знакомые! Почему так, дорогой мой Коля? Никогда я этого не понимал, а ты — мужик осведомлённый, сколько лет начальство возил. Вы же с органами связаны были, водители партийные, за номенклатурой — того... наблюдали, по второй своей службе. Плохо, Коля! Выходит, очень плохо вы наблюдали, Коля: предательства — не уследили! Эх, вы... Но... Объяснил бы ты мне, старому дураку, что всё это значит?..

— Убавь звук, — подтягивал ворот свитера Винниченко до самых усов, отчего говорил неразборчиво. — Убавь. И так ты в подъезде уже засветился. В очередной раз.

— Хорошо, хоть ты один вышел ко мне! — не замечал его встревоженности Бухмин. — Признателен тебе до слёз! Что ж, давай посидим, как раньше, если здесь нельзя шуметь. С чайком, с сахарком, пусть — без коньячка, давай. Мне бы ещё помыться в ванне разок... И отчего я прежде с тобой не поговорил, не посоветовался? Столько всего расскажу! Ушам своим ты не поверишь, Коля, милый Коля. Идём к тебе, идём в тепло, так и быть. Я — с радостью... Посидим...

— Сиди — у себя, — тихо перебил его Винниченко, поддёргивая трикотажные тёплые штаны. — Где живёшь, там сиди. Исключительно. И не разговаривай ты ни с кем! Целее будешь. Это я тебе — по старой дружбе только... Ну, всё, ты меня — не видал... И в двери не трезвонь, Фёдор, больше. Не открывают.

— Почему?.. — без надежды спросил растерявшийся Бухмин.

— Связываться с тобой опасно, — уже поднимался к своей двери шофёр. — Заподозрят, что правду вместе ищем! Тогда хлопот не оберёмся. Иди. И не высовывайся, слышишь? А то прихлопнут, как... моль, хоть ты и ветеран войны! Тебе бы притвориться мёртвым лучше... Ну, всё. Я тебя — не видал.

* * *

Сосед уже отвернулся от Бухмина; отторгся, словно отказался — от всякого знакомства, соседства, приятельства. Нащупывая в полумраке замочную скважину, шофёр замурлыкал на своей площадке независимым, отчуждённым голосом:

— Едут, едут по Берлину... наши... казаки...

Но ключ его никак не попадал в нужное отверстие.

— Это ты... для конспирации? — робким шёпотом спросил его Бухмин снизу. — А может, ночью мне к тебе придти? А? Когда они — они! — все не видят? Воры?

Но Винниченко махнул рукою напоследок: мол, уходи! Пропади же в конце концов, недотёпа ты, простофиля! И запел гораздо суровой.

— Едут, едут по Берли... — исчез он за порогом.

— ...Ну наши... — подхватил Бухмин едва слышно, втянув голову в плечи, уже понимая, что дверь горкомовского шофёра тоже захлопнулась для него навсегда; она поблёскивала теперь одиноким искусственным внимательным глазом.

— Ну... Наши... — топтался Бухмин растерянно. — По Берли...

А как поют дальше — забыл.

— Что же, прощай, — не стал он подниматься на свою лестничную площадку и приближаться к родной квартире — только вытянул шею, хотя и так виден был ему вишнёвый привычный дерматин с тусклою позолотой гвоздей, два из которых давно отпали понизу. — Прощай тогда... Лиза? Лиза!.. Прощай.

К маленькому сейчас придётся вставать Нюрочке в полной тьме. Толстая змея с разинутым ртом, в котором держится обычно шарик слабого синего сиянья, не светит из коридора — теперь невидимая змея держит в зубах шарик тьмы во тьме. И в углу комнаты не видна тарелка обогревателя с пылающей спиралью. А китайский фонарик на батарейках сейчас далеко, должно быть — в камере предварительного заключения; его унёс с собою вечером Иван. И если он не вернулся к ночи, значит, попался снова на пути к столовой.

Милиция задерживает Ивана только с бутылками самодельной водки. Это и ничего, не совсем плохо это — лучше, чем на бандитов нарваться, идти к дому с деньгами, от Панны Ионовны. В милиции Ивана не бьют... Он говорил, что в камере лавки широкие. К тому же на Иване толстый синтетический полушубок; есть чем укрыться. Мохнатый, бьющий изредка жёлтыми искрами, он полон скрытого колючего тока — износить его невозможно, как невозможно износить нужду... В Столбцах многие ходят в таких, безобразно свалывшихся, накаляющихся от холода, но прикрывающих живые души от чужого взора...

Если Иван в капзэ, то спит он под чёрным этим полушубком в полной безопасности. Утреннее милицейское начальство водку оставляет себе, а смирного Ивана Бирюкова отпускает без протокола домой. Так уже бывало, бывало. Ничего... Только убыток придётся покрывать им без устали, с завтрашнего дня, Ивану и Нюрочке. Ему надо трижды сходить на станцию с пластмассовыми канистрами — за техническим спиртом, лишь бы подогнули новую цистерну, и ещё больше потом заготовить проволочных каркасов. А ей — свить из колючих веток гораздо больше венков, и намного больше вырезать цветов из тонкой крашеной бумаги, от которой неприятно сохнут пальцы. Налипшую смолу Нюрочка смывает с рук скипидаром, пора купить ещё пару флаконов, про запас...

Всё это понимает не только ум её спящий, не только душа, желающая бездумного покоя, как лекарства, а каждая клетка торопливо отдыхающего молодого тела. Понимает, знает... и спит. Каждая.

Хорошо, что словых веток продали им в ритуальной конторе много, есть запас в углу. И основные где-то ещё спрятаны, не вспомнить... Они, ветки, тоже не часто в контору завозятся. Раздачу лап караулить надо, как и раздачу спирта.

Иван то и дело ходит попусту. И попусту в очередях дрогнет. То на станции, то в похоронке. За всё платит он две цены: боится, что в другой раз не дадут. И от всех трудов и беготни остаётся им не много. Только ведь иначе совсем пропадёшь. Иначе — побираться ей с ребёнком на вокзале, а Ивану — стоять на карауле, чтобы у Нюрочки милостыню не отняли. Вот какого грядущего дня они боятся, оба, ничего о том не говоря...

Но пока молодые Бирюковы справляются, худо ли, бедно! В субботу Иван наденет два венка себе на шею, подобием хомутов, колючих, тяжёлых. Ещё четыре возьмёт он в руки, по два на каждый локтевой сгиб, и так побредёт через пустырь, через кладбище — сдавать. А Нюрочка будет смотреть на Ивана из окошка до тех самых пор, пока не завернёт он за огромный камень-валун, торчащий из земли тёмной глыбой, и жалеть мужа бесслётно. Шея у него от ношения венков так затекает, что уж не сгибается потом, и поворачивается Иван неловко, медленно, всем туловищем... Но он вернётся из похоронки — и снова, не присев, накинёт два венка на шею, по два — на каждую руку...

От этих венков, развешенных по стенам комнаты и общего коридора, мысль о близкой смерти витает в бараке постоянно. Она наталкивается на людей, обвивает каждого, словно одна, общая на всех, невидимая змея, и держит живое сознание людей в странном плену потусторонних пугающих знаков — от нужды сознание барачных стало совсем тусклым, оно светит едва-едва и гаснет временами, словно лампочка без электричества. Только Иван говорит, что ему наплевать на всё: лишь бы заработать...

Думать ему некогда в этой крутоверти. И говорить — времени нет. Единой рюмки ему не выпить, самой короткой песни не спеть — незачем, ни к чему, не до того. Один у Ивана отдых желанный, сладостный — сон. Сон — беспробудный, долгий — роскошь бедных... Но Нюрочка знает: и во сне гнёт похоронных венков на его шею. Знает, не просыпаясь.

* * *

Теперь Тарасевна спит, полагая, что находится она не дома, а пребывает на ночном дежурстве, в ледяной стеклянной будке. Оттого сон её прозрачен, как гранёный стакан, и чуток, будто у сторожевой собаки. Он разбивается вдребезги, едва только скрипнула в общем их коридоре дверь чьей-то комнаты. Вздрогнула Тарасевна, разинула рот и подалась было на звук, предвещающий выгодную её кончину, но сообразила внезапно: сосед...

Мужчины часто отлучаются по малой нужде, поэтому сторожа из них неважные. Тогда как Тарасевна покидает пост совсем, совсем редко. Теперь, пока старик не прокрипит ещё раз дверь, возвращаясь к себе, ей не заснуть ни за что. А он едва плетётся в своих валяных чувяках, подшитых кожей: шарк-шарк...

Ну вот, ручку туалетной двери не отыщет. Пальцами тычет попусту, неловкий какой, скребётся. Тук да тук по дереву. Эх, мужики, мужики!..

И вспомнила она тут своего мужа — молодым: вёрткого, тощего кладовщика в фетровой шляпе, с его новой жёлтой гитарой, чёрная дыра на которой была обведена тонким траурным ободком.

— ...На что позарилась? — проворчала Тарасевна, поражаясь давнему своему душевному затмению. — Он и играть-то не умел, трень-брень этот.

Зря, выходит, глядел на неё украдкой хмурый бригадир-тугодум... Слишком, слишком долго думал он, опоздавший на ту вечеринку по причине дежурства в народной дружине, следившей за порядком на улицах в праздничные дни особенно бдительно, до полуночи.

Да и у Тарасевны всё-то вертелось в голове странное одно подозрение: что же он, бригадир, себе кого получше не облюбовал? Воспитательницу детского сада, например. Та — и моложе, и упитанней; что уродилась — то уродилась. И юбки у неё — цыганские, в крупных завлекательных цветках: не учительские — серые, тёмные. И глаза — по чайному блюду... Нет, определённо, есть в бригадире тайный какой-то изъян! Телесный, наверно... А иначе — на что ему Тарасевна, чопорная девица-перестарок? Хорошо зарабатывающему, обстоительному, в институт на заочное обучение поступившему? Да ни на что!..

Это её подозрение крепло месяц от месяца. И бригадир поглядывал на неё всё настороженней, всё отчуждённее, что почему-то сердило Тарасевну, и беспокоило, и доводило до крайней нервичности. А тут влетел в чужую комнату — этот; никем не званный, к столу не приглашённый — мизерный: трень-брень...

* * *

Будущий муж обидел её сноровисто и сразу: сказал в строительном общезжитии, вихляясь, помахивая гитарой, схваченной за горло:

— С кислой мордочкой гуляете, мадам? Вижу, камешки для вас — мелкий народишко?.. Ну, понятно: вам больших начальников подавай!.. Даже за такого, как я, небось, не выйдешь, училка? Удельный вес не подходящий? Не тот калибр?.. Ладно! Толкуй детям про бескорыстную любовь. И высматривай себе директора с портфелем!.. А мы не заплачем, не боимся: не выйдешь — не надо, не больно-то и хотелось.

— А почему же не выйду? — возмутилась вдруг Тарасевна на давней той вечеринке, засмотревшись в чёрную гитарную дыру, раскачивающуюся перед нею.

Она, помнится, подняла глаза кверху — от чёрной дыры к белому свежему потолку, ощущала языком вставной пластмассовый зуб... Подумав с минуту всего, Тарасевна выкрикнула затем решительно и уже бесповоротно:

— Возьму — и выйду!

Он ударил по струнам всеми пятью пальцами, — аккорд получился дребезжащий, — и ухмыльнувшись с лихим прищуром:

— Беру! Уговорила...

— Ты сквородку взять пришёл, а не училку! — окоротил его было пожилой скучный каменщик, сидящий на своей койке с бутылкою молока в татуированной руке. — Забыл?.. В танцы втёрся. Вьётся тут ужом... Пошёл вон! Выкидывай...

Испуганная воспитательница детского сада перестала щупать пластинки возле проигрывателя и сказала пожилому назидательно:

— Пожалуйста без драк! А то будет, как вчера. Давайте лучше споём! Все вместе! И!.. — взмахнула она подолом цветной своей юбки. — “Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз, мой адрес — не дом...”

Но молодые ребята песню про “не дом” не подхватили. Они оживились за столом — широкоплечие, обветренные и уже выпившие немного без бригадира за свой День строителя:

— А что? Муж намечается — хоть куда! И муку развешивает, и гонор соблождает... Давай, Сталинка! Вперёд!

Нарядные и весёлые, строители нарочно подзадоривали неприступную учительницу, потому что не поверили её словам.

— Не проворонь жениха... Ты погляди, чуб у него какой! Наотлёт, в кольцо... За такого любая побежит.

— Глаз он туманит — с прицелом. Танцует — с притопом. Не то что наш бугор... А играет как?! Жахнул по струнам — и девка его.

— В общем, парень неплохой! — смеялись они, перемигиваясь. — ...Только сытятся и глухой.

* * *

Тогда-то, осердившись на всех, решила Тарасевна окончательно: выйдет она замуж за кладовщика этого осмеянного, и семья у неё образуется такая, что всем на зависть: правильная очень... И вот совсем пустой оказался человек её тщедушный муж с мучнистым личиком — хвостун и выпивоха.

Расходились они плохо: он стоял на своём! Соглашался только, чтобы учительскую двухкомнатную квартиру её они разменяли бы так: ей с ребёнком — комнату в бараке, а ему — отдельную квартиру однокомнатную, но большую — и не иначе. Думал, что Тарасевна струсит. А она не струсил! Ушла с маленькой Галей в барак, да и всё. Пускай живёт бесстыдник на просторе! Один! Если совесть ему позволяет...

— Ага! Ты меня алиментами задумишь! — кричал он ей вслед, размахивая гитарой, не зазвучавшей правильно ни разу. — Козни строить будешь! Зуб костяной. Баба-яга с дипломом... Знаю вас, образованных! Все вы — гидры социализма! Ну, строй, строй свои каверзы: души меня, по судам таскай! Сквальга...

А она нарочно — на алименты не подала и ничего у него в жизни не попросила ни разу:

— Катись.

И только жалела разведённая Тарасевна бедную расстроенную гитару-пленницу: хоть и была создана она, чтобы звучать, а вместо этого остаётся ей лишь немо зевать чёрным ртом — немо, беззвучно, в безлюбом углу, — потому что власть над нею, звонкой, получил недостойный власти.

* * *

Три дня назад видала Тарасевна своего бывшего, давно уж с работы выгнанного. Шёл от вокзала, грязный, как дворový веник. Но передёргивал он плечами фасонно, и кособочился, и подскакивал от высокомерия:

— Может, сойдёмся? У меня машинка работает!.. Каморка твоя барачная да моя квартира с большой кухней... Съедемся, что ль? Ты, кикимора учёная, всё равно никому не нужна. Да и мне — не очень-то... Ну, как? Соглашайся, пока я добрый!

Остановилась Тарасевна перед ним, сощурилась до рези в глазах.

— Знаю я твою машинку! — сказала пренебрежительно. — Я теперь на автозаправке работаю, там директор наголо обритый, он с ошейником золотым. Вот у него машинка так машинка.

— А-а-а! — заорал он, запрыгал, щуплый, затоптал. — Видала? Видала, значит? Я полюбовнику твоему все механизмы завтра же переломаяю.

— Видала! — гордо выпрямилась морщинистая Тарасевна, сбивая шалёнку к затылку. — Из окна! Как он малую нужду у стенки справлял. А механизмы ты ему не переломашь. Ему тридцать лет, а ты — старый шибздик. В одиночку из экономии жил? Много ты выгадал, что одну только свою пользу везде устраивал?.. Вот в одиночку теперь и подыхай!

И вроде опять одолела своего негодника Тарасевна, в очередной раз, а так плохо, так муторно ей всё это вспоминать! Даже то не радовало, что в крупнопанельном доме его теперь — холод собачий, а бараки-то — при старенькой котельной; какое-никакое, тепло идёт всё же...

И до сих пор поражается она: вот как может испоганить всю женскую судьбу один никчёмный, задиристый мужичишка с мелкой, птичьей, пустой головой...

* * *

Только оказавшись в бараке, поняла разведённая Тарасевна, что такое счастье: куда ни помотришь — нет нигде никакого, ни единого-разъединеного, мало-мальского мужа! Даже из отхожего места не высунется теперь в сумерках гнусная физиономия его. И супружеское ночное осквернение тела Тарасевны с той поры прекратилось навсегда.

Теперь один почёт ей шёл отовсюду — почёт, привет, уважение. За то, что не брезгует учительница мыть пол в общем коридоре. За то, что, усталости не зная, трудную задачу любому барачному школьнику объяснит в ту же минуту. И на противоположный женатый пол взглядывает она без всякой похотливой поволоки, а только внимательно — как товарищ на товарища. И за кого на выборах голосовать — подскажет верно и быстро...

А простоватые соседи наперебой заботились о её маленькой, толстой Гале. С тяжёлою девочкой на коленях ждали, когда Тарасевна, охришшая от двух смен и одной политинформации, появится на пороге, слегка пошатываясь от чувства замечательно выполненного учительского долга. На общей кухне ей сразу наливали горячего свежего чая с магазинной морщинистой курагою и советовали беречь себя и жалеть. А толстая Галя свистела беспрерывно, дуя в подаренную кем-то игрушку, или пищала резиновой жабой неустанно. Самые разные пищалки, свистульки, дуделки появлялись у неё — и терялись, и множество общих облезлых игрушек передавалось из комнаты в комнату поочередно, наполняя барак грохотом жестяных автомобилей, дробью крошечного барабана и стуком ксилофона, одного на всех детей. Прибавлялся ещё к этому скрип детской деревянной кровати, которую доставали из подсобки, едва появлялся в бараке очередной новорождённый.

* * *

Да, совсем ещё недавно были все барачные и дружны, и веселы. В сарае, что стоит напротив, разводили они кур и гусей — тогда целинная пшеница стоила дёшево, а люди не умели ругаться из-за делёжки — цыплят, яиц и всего на свете. И птичья коммуна под рубероидной крышей шумела тоже — кукарекала, кудахтала, квохтала. Малые дети проверяли гнёзда по утрам, женщины шили наволочки, набивали пухом подушки, перины, выдавая

дочерей замуж с пышным постельным приданым, за хороших работающих парней — своих, барачных.

С приезжими, жившими по общежитиям, здешние девушки не знакомились — по скромности и по боязни, потому что много было среди чужих дерзкого и лихого люда, от которого веяло неблагополучием и бездомьем. Шпана со всего Советского Союза гуляла на тех многоэтажных улицах в дни полудки шумно и страшно, распевая до первой драки непотребное.

“Эй, кого пощекотать? — поигрывали заточками блатные, пугая прохожих. — Ты, дешёвый фраер, подь сюда. Поговорим по душам! Любишь ли ты театр, как люблю его я? Давай разберёмся, пацла, по-честному...”

И совсем уж стороною, вдалеке от бараков, проходили по тракту зарешёченные грузовики в сторону “почтового ящика” — точно так, как стороною проходили партийные конференции в центре Столбцов или партийные съезды в столице Москве. То был лишь общий фон внешней жизни, куда порядочный барачный человек, при правильном своём поведении, никогда не попадал. А правильным считалось у местных степняков жить так, чтобы не попасть под чьё-либо внимание — не падать низко, не лезть высоко, и если служить в армии, то не в Афганистане.

Тучный военком по происхождению сам был из барачных и потому “своих” жалел: определял всё больше на атомные подводные лодки и в ракетные войска, откуда в цинковом гробу не привезли никого. Повышенной радиации в Столбцах не боялись — тут все лысели одинаково рано. Только местная молодёжь всё равно полюбила вдруг мрачные песни — про коней судьбы, привередливых, мчащих к неотвратимой пропасти своих седоков. И советское время ослабло и просело.

Сарай под рубероидной крышей опустел вскоре, а барачный народ затомился — все ожидали чего-то непоправимого. Но в общем коридоре висели тогда на верёвках только пелёнки — знамёна жизни. И до появления знамён смерти — сатиновых чёрных и красных полос без надписи, свисающих с колючих тёмно-зелёных венков, — было ещё далеко.

* * *

Прежде всех помрачнела вторая квартира. Пожилые муж и жена, работавшие в конторе при колонии заключённых, перестали выходить к общему вечернему чаю. Могучий техник-смотритель и низкорослая секретарь-машинистка передвигали что-то у себя и переговаривались негромко. Но через две недели они поставили на общий кухонный стол бутылку “московской” водки — для всех, и выложили из авоськи огромный арбуз, тёмно-зелёный, полосатый, на боку которого нацарапано было “86 г.”.

— Ты амперметр мой положила? — спрашивал техник жену, откупоривая бутылку.

— Давно... — отвечала она безучастно. — Вольтметр, говоришь?.. Да, положила.

— Прощаться будем. Пора нам, — сказал техник соседям и занёс над арбузом широкий нож с деревянной ручкой.

— Всем пора, вообще-то, — примеривался он, покручивая зелёный шар, будто обезноженный глобус, потерявший подставку. — Всем русским.

С этими словами техник вонзил лезвие меж двумя меридианами, и тяжёлый плод не пришлось резать надвое — он треснул под ножом и развалился сам на несколько сахаристых кусков, брызнув соком и чёрными семечками.

— Переспел, — огорчился конторский истопник. — Очень переспел... Два офицера у нас уже уволились. Тоже.

— Зато стал он самый сладкий! — приободрила его Тарасевна, севшая к столу первой. — Ишь, вызрел! Всем арбузам арбуз...

И так, выпив по рюмке, держа по красному куску в руках, барачные сплёвывали семечки в бумажные кульки и слушали изумлённо конторских: страшная пришла амнистия, никому не понятная, негласная. Выпускаются на волю преступники с самыми тяжёлыми статьями: убийцы, маньяки, ре-

цидивисты — повсеместно. Раскрасневшаяся жена техника озиралась, шептала, вытирая липкие руки тряпкой, подтверждала слова мужа:

— Закрытые это распоряжения, которые в бумагах не оставляют следов. Только требуют сверху, звонят каждый день... Рекомендации идут: срочно готовить документы к сокращению больших сроков наказания, тш-ш-ш... Срочно!..

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... — переглядывались барачные.

Про измену в верхах все пока молчали, но чувствовали: слом жизни на движется оттуда, грозовою тучей. И снова текучая горечь белой водки заедалась красной переспелой сладостью тяжелейшего плода с беспомощным стеблем, который торчал оборванной иссохшей пуповиной из малого куска, и его не брал никто.

— Уезжать надо, к своим поближе, — всё повторял озадаченный хозяин второй квартиры. — Выхода не остаётся другого... Лопнет весь интернационал. С треском, с кровью большой. Очень большой... Ничего не понимают наши офицеры: даже амнистия пятьдесят третьего года такой не была... Кассиры-растратчики, матери-продавщицы, шофёры — остаются за решёткой, а голворезы освобождаются подчистую... Так-то!..

— И для чего? — рассуждали барачные. — Кому это надо?.. Всех уголовников выпустить враз на вольные улицы?

— Офицеры толкуют: для участия в будущих уличных беспорядках, — выпивал торопливо техник, забыв налить рюмки остальным. — На национальной почве, не иначе... Больше не для чего: политика!

— Ой, плохое затеяно дело, — сокрушалась его жена. — Старые конторские сказали: ну, теперь будет кому разбивать витрины и машины жечь... И так — по всему Советскому Союзу, по всему... Вы только молчите. Тш-ш-ш: никому...

— ...Нет! Мы — никому...

— А вольтметр где, не помнишь?

— Не помню!.. В коробке он, твой амперметр...

Переодевшись в гражданскую одежду, с двумя тяжёлыми чемоданами и одним рюкзаком, вскоре двинулись конторские муж с женою в путь, отдав свои ключи Тарасевне: “Если нигде не устроимся — вернёмся”. А та в свою очередь оставила их у немой...

Но барачные встревожились, пошептались, притихли. Думали: “Ничего. Как-нибудь обойдётся...” И Тарасевна прошла по всем комнатам, убеждая оставшихся:

— Вредительство! Разоблачено оно будет. И за властями есть кому досматривать. Я даже не сомневаюсь!

Следом за нею ходила по соседям нарядная немая, одобрительно мычала: ничего, придут генералы — с большими эполетами, с красивыми усами, — наведут хороший порядок, поднимала она большой палец. Обязательно!..

Так жестикулировала тогда немая.

И в коридорном пространстве не было ещё знамён смерти.

* * *

Сарай напротив барака всё стоял пустым. Лишь доски со стен и дверца исчезли со временем в топке котельной. А рубероидная крыша на кривых стропилах сохранялась, и врытые хлипкие столбы кое-как держались, приваленные осевшим саманом, когда вдруг прилетел перед зимою в заброшенное то строенье одинокий сизарь со стороны самарской, дальней. Сначала его даже приняли за мелкую курицу, расхаживающую меж разбитых старых копыт и тазов...

Барачные тогда ещё сильно дивились — не жили голуби в Столбцах раньше, и радовались они птице. Один старый Жорес, которого вселили только что во вторую квартиру, всё покачивал головою:

— Это русская птица, которая сбилась с пути.

Он смотрел на новых своих соседей сочувственно и, вернувшись от сарая, предостерег всё же Тарасевну, как старшую среди прочих жильцов:

— “Голубь” называется у нас “русская птица”... Да, да, ваша радость — плохая радость: русская птица потеряла свой путь.

Он мог бы ей сказать больше: “Так бывает перед тем, как толпы вашего народа лишатся обжитых своих мест и станут ютиться, где придётся. А следом начнут сбиваться с пути другие народы. Нас тоже настигнут лихие времена... Сейчас встревожились и двинулись на север лишь некоторые русские семьи. Но скоро караваны бездомных скитальцев умоются слезами, без приюта и хлеба. Да, ваша радость — плохая радость”. Однако слова его были не важны для жильцов. Новые соседи на него смотрели косо. А упрямая учительница фыркнула, не желая ничего слушать; она принялась выдёргивать из-под ног его половики, для стирки.

Тогда прихрамывающий Жорес поплёлся к себе, в тесную комнату, которая никак не становилась его комнатой, а всё была чужою. Но там никто не мешал ему, виноватому перед всеми, думать про заблудившуюся птицу, печалась в одиночку.

* * *

Южнее степей всегда водились голуби, только были они иными и назывались у тамошних русских не голубями, а горлинками. Этот же, прилетевший с самарской стороны в край безлесный и чуждый ему, был крупнее, темней...

Горыят, перед революцией залетела вдруг эта птица в степи. А следом появились и растерянные бродяги с Севера, скрывающие свои судьбы от властей. Они старались сойти за необразованных, чернорабочих и затеряться среди обычных артельных людей. Только каждый всё равно был виден в толпе, словно в одиночку он стоял на высокой горе. Так было... Их арестовывали потом приезжие люди в кожаных куртках, после чего пришельцы пропадали уже бесследно...

И перед самой коллективизацией так же появлялась в этих степях заблудившаяся русская птица. В те поры её видели даже южнее Столбцов, у самых Чёрных песков и Красных. По этому знали старые азиаты, что вот-вот налетит ветер перемен, сорвёт русские семьи со своих насиженных мест, разметёт во все стороны света, и что ждёт их всех великое горе, и плач, и бездомье.

Вскоре толпы ссыльных были пригнаны под конвоем в самые гиблые степные места. Многие из них умирали на открытом пространстве, без тепла и пищи. Точно так же, как умирали потом от голода местные кочевники, отдавшие свои стада новой власти — в колхозы, где не выживали в тесных стойлах, без привычных вольных пастбищ, ни овцы, ни кони. Тогда степь покрылась трупами измождённых кочевых людей, не сумевших доползти до железной дороги, чтобы выбраться отсюда. Мёртвые лежали открыто, там и сям... А трупы пригнанных с Севера людей всегда собирали баграми в кучу и прибрассывали землёй ещё не умершие ссыльные, потому что наблюдали за всем этим командующие люди в погонах...

Да, так было в этой степи, равно принимавшей в свою землю и пришлых, и кочевников, — сразу после прилёта русской птицы, потерявшей вдруг способность ощущать свой путь.

Уцелевали здесь, правда, лучше других, во все тревожные времена, скромные русские степняки, ведущие хозяйство неприметно, — коренные жители гиблых этих мест; жилистые, как чертополох, живучие, как полынное горькое семя, и молчаливые, как бирюки... Уцелевали, поскольку всегда были достаточно бедны, обособленны и неприхотливы. Их скудная жизнь ни у кого не вызывала зависти, а значит, и не вызывала желания как-то её переустроить...

И вот русская птица снова сбилась со своего пути. И этот знак был дурной, страшный... Так в одиночку горевал старик-новосёл, видя из окна радостных барачных людей, которые спешили к сараю — подкормить голубя остатками каши. Меж тем для их народа наступала пора скитаний...

Но тогда ещё не было ясно почтенному Жоресу, что вот-вот начнут пропадать при жизни оба его внука, которых носит теперь степь, будто живых мертвецов, — старшего, бандита, и младшего, наркомана.

Ближе к весне матёрый сизарь исчез, но вскоре вернулся в дырявый сарай не один — с белой, как снег, и чистой, как снег, дивной голубкой. А к осени в сарае жила уже целая голубиная семья. Но вот пришла новая зима — с морозами лютыми, ветренными, когда привычный труд перестал кормить людей, поскольку сделался никому не нужным, а власть в далёкой Москве перевернулась вверх дном окончательно. И однажды немая из третьей комнаты, размахивая руками и страшно мыча, вывела барачных на улицу, к сараю. Тарасевна тоже выскочила, в комнатных тапках, без шали, и тоже, простоволосая, смотрела на окровавленные пёстрые перья и жалкие косточки молодых голубят — в страшной тишине, под взглядами ошенивших людей, матёрый сизарь расклёвывал последнего из своих детёнышей. А голубки не было видно нигде.

Старый Жорес, подошедший позже всех, опять начал было объяснять людям про голубя, потерявшего путь. Русская птица, сбита с толку, на пороге своего исчезновения теряет прежний, природный, нрав, заботливый и кроткий. Она истребляет свою семью, которой — не уцелеть. Ведь то, чему всё равно не жить, уничтожается природой заранее... Голубю-самцу в такие времена очень бывает нужна тёплая кровь близких. Кочевые народы знают это...

И опять на старика обиделись все. Несколько дней барачные не разговаривали с ним, возводящим напраслину на голубей. Сизаря, правда, за растерзанных птенцов ругали сильно — оборотнем, гадом, выродком и людоедом. Только остальные голуби тут при чём?

А спустя время опять замычала страшно всё та же немая, грозя кулаком в своё окно и стучаясь лбом в раму. Белые перья голубки были почти не различимы на белом снегу, и, если бы не капли её крови, их можно было даже не заметить. А сизарь уже сидел на крыше сарая, он чистил от белоснежного пуха свой окровавленный клюв.

Больше никто из барачных не пожалел сизаря ни разу — ни единой корки не было подброшено ему в сарай в ту зиму. Когда и куда он улетел, никто не знает. Вспоминать голубя-убийцу перестали сразу же, зато старику слов его так никто и не простил: до того они показались обидными всем: обидными, несправедливыми, скверными... И так считали все, пока из России не начали возвращаться семьи, уехавшие из Столбцов в годы развала державы, — обнищавшие, растерявшие скарб, хлебнувшие лиха на своей родине, как на чужбине.

Сюда, в Столбцы, доходили и до этого невесёлые слухи об их мытарствах по съёмным углам и о преждевременных подзаборных смертях там, где своих не ждал никто. Вернувшиеся ни с чем в Столбцы ругались бессильно и говорили: дети погибших остались на улицах России без пропитанья. Русоголовые сироты-оборванцы скитаются по вокзалам, подвалам, помойкам державы, потому что в век развала империи получили власть недостойные власти.

Так безмозглые правители с птичьими головами расклеивают умный народ, хмелея от живой крови. В будущем эта кровь проступит сквозь все их портреты, сама собою, говорили русские, которых не приняла Россия. Красные глаза правящих упырей станут знаком их на все времена: в век двойного развала империи они расклёвывали великий терпеливый народ...

Но последним пристанищем уцелевших оставались всё же их квартиры, оставленные здесь, в азиатской степи, потому что продать их в своё время было невозможно даже за бесценок... Однако в подъездах домов встречали измученных хозяев какие-то новые люди — со справками, что накопленный перед властями долг по квартплате огромен, и получалось, что теперь ждёт возвращенцев только суд и тюрьма. Так становились вернувшиеся должни-

ками-преступниками... И предъявляли старым хозяевам те же люди — тут же, в подъезде, — другую сомнительную справку, по которой оказывалось, что старый огромный долг их уже выплачен жильцом новым, вселившимся. А там уж совали в карман обескураженному хозяину три бумажки зелёных зарубежных денег, да и требовали расписку: продана квартира! Продана, продана...

И вот живут теперь мошенники под чужими потолками, в чужих стенах, как в своих. А прежние хозяева ютятся по подвалам, в развалинах и лачугах... И дети их побираются на вокзале и ночуют в подвалах заброшенных цехов — те, что прозываются теперь в Столбцах чуханами...

* * *

Рано или поздно маленькие оборванцы перестают выходить на волю. Они лишь посылают одного, ещё не совсем ослабевшего, — притащить из колонки воду и бухнуть её в бочку со старым химическим раствором. Откинув ведро в сторону, торопливо мешает он содержимое грязным, клейким обломком арматуры.

Поднимаются снизу ядовитые невидимые испарения. Припадают к ним чуханы, повиснув на металлических краях и опустив косматые головы как можно ниже... Так припадают к струе свежего воздуха только задыхающиеся от удушья люди. Но дети-оборванцы задыхаются от другого: от униженья своих отцов с пропадающими судьбами, от голода матерей, от холода, от мелких побоев и свар, вырастающих из никчёмности человеческого существования...

Да, как вырастают, лезут из брошенных заплесневелых углов кривоногие, ядовитые поганки, как выползают из тела у затосковавших перед последним боем солдат предсмертные подкожные вши — точно так вылезают, вырастают, выползают на свет скандалы, и склоки, и драки, невысказанные в добропорядочных этих семьях доселе...

И тогда детский мозг начинает жить странной жизнью, в которой нет места постылой действительности. Разрушаясь, он, отравленный, утешается виденьями чудовищными, враждебными мироустройству. Отмирая, беспомощный мозг выбрасывает рябые виденья дикого, нелепого, смешного хаоса. Не справившись со злом, детский ум уходит в окончательное зло — в ещё больший кошмар, но кошмар, который отключает от необходимости жить ужасом действительности — неразрешимым, нескончаемым...

* * *

Знает про всё это старик Жорес, живущий в чужих стенах. Он знает всё — чего не изменить и от чего беспомощное человеческое сердце начинает мелко, опасно дрожать, пытаясь отказаться от судьбы досрочно. Но, видно, не вздрагивает оно при виде чужого горя у тех, красномордых, — у хозяев новой жизни, пирующих в новых своих дворцах. Эти дворцы выросли теперь во всех республиках, отгороженные от народов, будто крепости — от врагов. Нет, это уже не жилища: их красные дворцы — это мавзолеи; роскошные мазары, в которых покоятся омертвевшие души пирующих...

Если сказать тем людям — с холёными телами, но с мёртвыми душами, если сказать им, разбогатевшим на беде остальных: “не распространяйте нечестие на земле”, то они ответят: “нет, мы только поддерживаем благочестие”...

После смерти холёных сытых тел за великий этот обман хозяевам новой жизни и новых дворцов предстоит скитаться на том свете, как иступлённым. Но сейчас они не чувствуют сострадания, потому что их сердца и слух запечатаны, и на их очах — покрывало: их души омертвели от роскоши.

Вздыхает старый Жорес — из богатых этих людей никто уже не сделает людей... Они питаются чужой бедой и пьют чью-то беду из своих высо-

ких бокалов. Они одеты в чужую беду — она дорогая, очень дорогая, эта одежда: цена её — чьи-то изломанные жизни и прерванные судьбы. Самые изысканные, благоуханные, красивейшие одежды — это одежды, сшитые из чьей-то чёрной, грязной, больной и голодной беды.

Той власти разрушителей судеб, власти разрушителей государства не видно конца, потому что вовремя раскололи они сильную прежнюю армию, думает Жорес. Да, извели её, заморили, а из оставшихся военных делают теперь своих янычаров — только янычаров, охраняющих богатство грабителей от ограбленных; от голодных, нищих и злых.

“Кайтесь! — говорят они ограбленным. — Кайтесь и терпите!” Такая теперь придумана идеология для людей труда, у которых отобрали труд...

Пока пируют воры, обворованные должны каяться и терпеть...

* * *

Конечно, старику, втиснутому насильно в чужую комнату, не стоило бы размышлять этой ночью о бедствующих. Ведь вещи прежних хозяев, сожжённые на мусорной свалке, продолжают жить в этой комнате своею прозрачной жизнью: почтенный то и дело спотыкался на ходу, а обо что — не видел. И тут часто останавливались громкие премиальные часы старого Жореса — хорошие часы, они не в силах были перековывать без конца старую чью-то реальность в новые минуты, свободные от чужого прошлого... Сын его и он подчинились когда-то чёрной курице, отказавшись от своей воли, а значит, и от своего разума. Они не сбежали от алчной продавщицы, когда были для этого силы. А потом старик попал в эту тюрьму — в эту камеру чужого несчастья. Чёрная курица перевезла старика сюда, сказав: твоё жилище — здесь, потому что оно свободно от людей...

Подчинившемуся чужой воле не обязательно понимать, кто прав в этой жизни, а кто — нет. И разве не подчинились чужой воле доверчивые девушки и парни его народа — те, что вышли на площади крупных городов, требуя ухода с постов самых разжиревших, самых наглых коммунистов, забывших про коммунизм для простых людей? Но всё было обставлено так, будто они требовали отсоединения от России...

По степи слухи разносились тогда быстрее ветра: в крупных городах снуют по студенческим общежитиям какие-то новые люди, одетые подозрительно дорого, они зовут молодёжь на демонстрации против красной власти, богатеющей бесстыдно, в ущерб остальным людям. И степные старики не могли докричаться до внуков: “Дети! Вас вовлекают в великий обман! Кучка лихих людей идёт к целям, которые вам не открыты! Остановитесь, дети! Иначе потом пострадают все, кроме лихих!”

Но молодые правдолюбцы уже не слышали стариков: начались повсюду те самые волнения — с арестами обманутых студентов, с поджогами, с грабежами магазинов, с отъездом русских семей. И самые жирные, самые наглые коммунисты бросили партийные билеты, отрекаясь от коммунизма для всех: они стали владельцами народных богатств уже окончательно, отринув народ в нищету — навсегда... Так пришла в степи великая ложь, назвавшая себя демократией. Так пришла она в горы и леса. И смерть прокладывала ей дорогу — повсюду...

Но если прежние хозяйева этой второй квартиры выжили там, на пространных, где гуляет смерть — приспешница новой власти, если, измучившись, вернутся они в Столбцы, старик уступит им эту их комнату, без слов, сразу: уйдёт из барака к глиняным мазарам — умирать заживо.

В каждую ночь, когда, раз в неделю, прицепной пассажирский вагон приходит из России, старик ждёт стука в дверь, после которого он унесёт, утащит своё износившееся тело в мазары. И хорошо, что наступает лютое время года: старые люди в мороз умирают на земле легче, чем в жару.

...О, если бы эта квартира была оформлена на его имя! Но нет: сюда сразу зайвится чёрная курица, размышляет Жорес. Она, как настоящая хозяйка, и её сыновья выкинут прежних, вернувшихся, хозяев на улицу, без

промедленья. Только это уже не его дело: старик Жорес поплетётся умирать — к мазарам. Так он решил.

* * *

Следующий прицепной вагон из России придёт лишь через двое суток. Этой длинной тёмной ночью не придет никто. Не стучит теперь даже сердитый проржавевший “Саратов”, который обычно трясётся на месте с дробным топотом, словно бьёт в пол железными копытами, пытаясь убежать из чужой комнаты прочь, и ревёт от беспомощности, и гудит. Потом, содрогнувшись от внутреннего холода, изношенный “Саратов” затихает — только мурлычет давнюю электрическую песню, впадая в советское своё машинное детство...

Внук-бандит с шальными парнями привозил новый огромный холодильный агрегат, но старый Жорес, ругаясь, замахал клюкою — прогнал их вместе с голубой машиной, сославшись на барачную тесноту. Зачем старику привыкать к блестящим предметам из чужой жизни, враждебной всем остальным? Зачем брать то, что внук его покупает без всяких денег?

“Саратов”, сделанный когда-то на Волжском заводе, молчит, не напившись электричества из розетки. Старые хозяева не постучат этой ночью в свою дверь... И старому Жоресу остаётся лишь прислушиваться, как за стенами барака высокие вьюги опять раскачивают звёздный ковш...

Вьюги опадут в Воротах ветра весной и долго ещё потом будут бесшумно стлаться понизу, пока не превратятся в талую цветную воду — малиновую, жёлтую, изумрудную... Вспомнят ли эти воды тех, кто смотрел на них когда-то, думая о великом народном братстве? Помнят ли цветные воды прежние надежды людей?..

Древние старцы, знавшие арабскую вязь, говорили, что для праведных тружеников приготовлены на том свете дивные сады со светлыми реками, не заражёнными радиацией. Трудно ли праведным на тех райских речных берегах, жалко ли им забывать степные несладкие, опасные воды? Спокойно ли им, отработавшим для всего Союза, понимать, что творится внизу?

А в Воротах ветра звёздный ковш всё ещё пытается укрыться от стужи там, на небе, одеялом из плотных туч. Только в ночь перелома восставшие ветры должны размотать, разнести все эти тучи в клочья, развеять их без остатка. И хорошо, если не сорвут они путеводные потускневшие звёзды с небес, будто осенние мелкие никчёмные листья. Когда не останется честных, когда всеми, всеми людьми будут потеряны и перепутаны их пути, случится такое: путеводные увядшие звёзды слетят наземь, как засохшие листья...

Но, чу! Со стороны мазаров идёт, шумит, всё уверенней надвигается на жалкий целинный барак время беспощадных, мертвящих холодов. И старые люди в мороз умирают легче, чем в жару.

* * *

Души спящих не понимают того, как резко меняется атмосферное давление в природе. Только и во сне отзываются они на резкие скачки и перепады — их раскачивает невидимое противоборство тяжёлых и лёгких воздушных потоков. Небесное предзимнее кипенье сообщает в Столбцах беспокойство всему живому. И Нюрочка просыпается внезапно.

От детского плача она подскакивает на постели так резко, что швы, кажется, треснули. И натывается во тьме на колючие иглы. Да, пара венков рухнула на неё, спящую, с гвоздей. Она отталкивает их, корявые, громоздкие, руками, скидывает с себя, цепляющиеся за одеяло и царапающие, один за другим. И они падают на пол с тяжёлым глухим шумом, обдавая слабым запахом выцветшей хвои.

— Саня, что ты? Здесь я!

Босой ногою отодвигает Нюрочка колкое, неуклюжее, кладбищенское, шуршащее — подальше от постели, подальше от детской коляски.

— Здесь я...

Шуршат под голой стопою, мнутся бумажные цветы, прикрученные к веткам тонкой проволокой, снятой с катушки старого красного трансформатора. Не пришлось бы переделывать их заново. Завтра, завтра...

— Тише, — бормочет Нюрочка в непроглядной тьме, покачивая коляску. — Тише. Сухие пелёнки у тебя? Вот так... Пить ты хочешь, маленький.

Руки её шарят по подоконнику, отыскивая приготовленный пузырёк с кипячёной водою, потом — чистую тряпицу, и оттирают во тьме мягкую соску.

— Немножко можно... Хватит, Саня. Не надо больше... А я измучилась что-то. Слабая мама досталась тебе, крохотный мой. Ничего... Спи... И я... Тоже...

* * *

Нюрочка и права не имела такого — уставать, потому что была не городская, а сельская, да ещё бесприданница. Всем, всем она обязана Бирюковым, начиная с крепких чулок и пушистых китайских тапок. И тем, что у неё городская крыша над головой, и семья, и ребёнок... Не на тракт пошла зарабатывать после школы, как две её сельские смиренные подружки, и не бродяжничала Нюрочка в одиночестве по чужим далёким проспектам и площадям в поисках лучшей доли. Выхватил её Иван из разорённого степного совхоза, откуда по-хорошему не выбирают. Чудом — выхватил... Только ждала она, что увезёт её от мачехи совсем другой человек.

Её любовь должна была состояться однажды весной, когда свежая степь за совхозным посёлком станет светлой до горизонта до расцветших белых и жёлтых тюльпанов. На молочной ферме выдадут наконец заработанную за четыре года и десять месяцев плату мачехе Маринке, и Нюрочка потратит всю свою долю на одно лишь, но очень дорогое синее платье с лёгким летящим подолом. И косы её будут уложены вокруг головы подобьем пшеничной короны... Тогда необыкновенный человек издалёка, оказавшийся в совхозе “Победа коммунизма” случайно, проездом, вдруг увидит её, строгую, прибранную, стоящую перед калиткой в своей готовности к встрече, самой важной в жизни.

Он узнает Нюрочку. И подойдет. Уверенный, скажет спокойно: “Вот, всё. Твоя одинокая судьба кончилась. И моя — тоже. Мне без тебя жить уже невозможно”.

* * *

Наверно, сначала она обрадуется — тому, какой он ладный и понимающий всё верно, сразу. Потом Нюрочка пожалуется поверх калитки одними только глазами: “Я слишком рано стала ждать тебя! Со школьных лет, с начальных самых классов! Из-за одиночества я натерпела такое большое количество ожидания, что оно слежалось в душе глыбами, похожими на старые осевшие сугробы. Они могут не растаять никогда. Во мне образовалась, кажется, вечная мерзлота”.

Переживая, он сотрёт со щеки её пыльцу от мелкого степного тюльпана и скажет — взглядом: “Сон мой! Я полюбил давно твою холодную душу. И я спешил к тебе, потому что знал: она не оттает без меня. Но где ты находишься, мне было непонятно. И вот я увидел тебя, сон мой и явь. Я пришёл за тобой”.

“Но во мне мало радости жизни! — предостережёт его Нюрочка. — Моя радость убита почти вся, ещё до появления на свет! Она сильно подорвалась и даже, наверно, истлела — в тех сосланных, кто жил до меня. Нам отучили радоваться задолго до рождения”.

Он ничего не ответит на это. Лишь догадается, что всякий пропадающий род одаривает последних своих дочерей большой скорбью исчезновения. Но всё же улыбнётся ей: “Знаю! Безрадостно жить, милая Анна, в чужой среде

и опасно, потому что однажды, затосковав сверх сил, человек может шагнуть из неё — всё равно, куда... Я очень боялся опоздать!.. Но ты уцелела. И я отыскал тебя. А радость — вернётся!..”

“Разве? — побойтся она поверить этому сразу. — Разве?”

“Теперь всё тяжёлое кончилось! — возьмёт он её за руку. — Идём!”

И Нюрочка кивнёт боязливо. Но шагнёт за калитку — смело...

* * *

Да, однажды, солнечным весенним утром долгожданной молодой человек уведёт её в своё далёкое существование — неведомое ей, пугающее немногое. Но там будет так тепло от всепонимающей вечной ласки, что думать про всё дальнейшее у Нюрочки не находилось сердечных сил, а наступала сразу одна только сердечная долгая ломота.

...Однако была не весна — июльская жара уже пошла на убыль, она давно выжгла весенние травы, цветущие мелко, недолго. Прячущие под собою, в темноте, крошечные сладковатые клубни, эти цветы угасали слишком быстро... И уже обнажилась вокруг фермы розовая земля, сцепленная сухими корнями, будто перепутанной бурой проволокой. Сквозь них пробивался только бледный кудрявый полынок, от которого горчило коровье молоко и горчиал воздух... И белые волны поседевшего ковыля колыхались вдоль тропы, ведущей от скотного двора к совхозному посёлку...

И было не утро, а летний ветреный конец дня, с обильными бешеными облаками, мчащимися над воздушной густой синевой, будто клочковатая пена над рябой водою... От высоких раскачивающихся облаков то и дело становилось на земле пасмурно, как на дне. И Нюрочка смотрела вверх, из совхоза “Победа коммунизма”, словно утопленница; из тени — в мятежную небесную высоту, перемежающуюся быстрыми тенями. И снова двигалась потихоньку к дому, шагком за шагком.

Нет, она не стояла под ласковым солнцем, в синем платье с летящим шёлковым подолом — она брела с фермы по сумрачной земле, в резиновых синих сапогах и в мачехином байковом халате, пахнущем хлёсткими коровьими хвостами. В июле животным не было иного спасения от жалищих слепней, как только отмахиваться от них. И доярке, подсевшей к тяжёлому вымени с алюминиевым гулким ведром, доставалось тоже — и от злых укусов, и от беспокойной коровы, вздрагивающей, бьющей копытом так, что мудрено было уклониться вовремя — и не пролить надоенное молоко наземь. Белое, как радость, живоносное, как радость, сияющее, как радость, оно истаявало, уходя в тлен, в прах, в навоз без всякого толка, и пропадало там, никого не питая.

Но серые кровососущие, налетающие бесшумно, боялись ветра, а это был очень ветреный день.

* * *

Нюрочка уже свернула на свою улицу, когда её чуть было не сбил с ног незнакомый парнишка, вылетевший из-за угла.

— Дурак! — отпрыгнула Нюрочка в испуге, потирая задетый локоть, словно прошитый мгновенным электричеством.

Коренастый, в длинной куртке, в широченных штанах с пятнами мазута, он пытался отодрать доску от забора и вооружиться, всё равно чем. Доска никак не поддавалась, хотя пнул он её понизу и раз, и другой; она только обламывалась в труху и бесполезные щепки.

— Куда мне? — обернулся он к Нюрочке с жалким обломком в руках. — Убьют.

По переулку катился дробный топот, и торопливые ругательства приближались.

— Туда! — велела она. — Дурак...

Он показался ей косоротым, оттого, что губы его были разбиты в кровь, и невменяемым: ошалелые глаза его не вбирали света и человеческого образа, словно алюминиевые.

И это было оно, её неказистое счастье, потому что удивительные мечты сельских полусирот не сбываются никогда.

* * *

Тем летом совхозный машинный двор обезлюдел окончательно. Над ним, просторным, пустынным, кружила вечерами стая воронья и опускалась к ночи. Заброшенная мастерская — с цементными глубокими ямами, с бетонными постаментами для движков, с полуразбитыми верстаками, — давно стояла без широких своих ворот, с тёмными провалами в стенах. Она стала пристанищем серых птиц и местом их ночлега. Однако начальству потребовалось вдруг отремонтировать механизмы, необходимые для обработки и полива собственных земельных участков, располагавшихся за чахлой лесопосадкой, а заодно и вскопать их под осень, заросшие бурьяном.

Мальчишек-калымщиков из автодорожного техникума бывший совхоз, а теперь акционерное общество “Победа”, нанял за хорошую цену без аванса. Они прикатили гурьбой, на рейсовом автобусе из Столбцов, и поселились в конторе, где подрались до поножовщины уже в конце второго рабочего дня. А Нюрочка вместо мачехи подоила коров на ферме и шла, уклоняясь от ветра... Она распахнула перед парнишкой калитку, потом — дверь, которую сразу заперла на засов.

Подростки горланили под окнами недолго и стёкла выбивать не стали, побросав на дорогу заготовленные было камни и комья земли:

— Ну, пада! Выйдешь... Эй, Бирюков? Не жилец ты! Понял, нет?.. По башке настучим — почки вылетят! Готовься, паскуда...

Они потопали обратно, по улице, заваленной кучами печной золы и мусора. И всё стихло. Бледный парнишка в куртке с полуотворванным воротом стоял перед девчонкой. И перепуганная девчонка в просторном, не по росту, байковом халате стояла перед парнишкой.

Они молчали, почти не видя друг друга.

* * *

— ...Дома нет никого, — проговорила наконец Нюрочка. — Прячься, сколько надо. За мачехой заехал знакомый. Он увозит её по выходным. Привезёт завтра к вечеру.

— А-а-а, — улыбнулся он криво и приложил к разбитым губам рукав, промокая сукровицу. — Понятно.

— Что понятно? — строго спросила его Нюрочка.

— Ну... если взрослый мужик с тёткой свинтили, там — трах-тибидох.

— Она не одна ездит с ним на базар, — нахмурилась Нюрочка. — Вместе с другими доярками. Потом расплачиваются все. Тем, что не продалось... Он четверых берёт. Мачеху Маринку, мачеху Натюльку и двух сестёр Алгасовых. Банные мочалки сам продаёт. Вяжет их крючком, из капрона. А другим не разрешает. Чтобы торговлю ему не перебивали... И где капрон покупает, не говорит никому... Предприниматель! У частников так положено.

Подумав, она достала две варёные картофелины в тёмной кожуре, два жёлтых помидора и поделила всё поровну...

— Я спрашивала про капрон, тоже хотела вязать. Но он другим не разрешает, — повторила она.

...Тогда на клеёнке перед каждым лежала отдельная картофелина, как отдельная Земля, и свой помидор — как отдельная Луна. И двое людей, не научившихся жить, глядели в сумерках, каждый на своё, отдельно друг от друга.

Точно посередине круглого стола стояла пустая круглая солонка, потому что соль кончилась в доме. Иван и Нюрочка сидели вокруг небольшой пустоты, заключённой в тусклое стекло...

Всё ещё бледный, парнишка решил:

— Мне в контору нельзя, — и добавил рассеянно: — А на утренний автобус у меня денег нет. Может, ты... Это...

Он смутился, уставившись на рваные её сапоги. Нюрочка торопливо сняла их и стала ходить босиком, отыскивая какой-нибудь кусок хлеба. Но на полке нашарила она только старый пряник, от неловкости уронив его на пол. Они оба кинулись под стол.

Иван первым подобрал пряник и понюхал.

— Он мышами пахнет? — спросил он, стоя на четвереньках. — Тут нам перловку дают, утром и вечером. А пряников...

Нюрочка молчала под столом. Потом быстро кивнула:

— Мышами. Наверно.

— Ну, ничего. Быстро поднятое не считается упавшим!.. Я бы завтра на автобусе в город уехал, если бы деньги нашлись, — опять сказал он, выбираясь из-под стола. — Я бы вернул потом.

Нюрочка вылезла тоже, ничего не сказав. Они принялись чистить картофелины — сосредоточенно, каждый свою. И пальцы их стали одинаково липкими.

Столкнувшись потом плечами перед умывальником, кое-как ополоснули руки. И торопливо пили холодный чай. Оба то и дело поглядывали в потолок — словно в навигационную карту, на которой не уцелело знаков, или в бледное небо, с которого исчезли отчего-то путеводительные звёзды.

Стесняясь запущенности жилища, Нюрочка объяснила:

— Мы не белим давно. Это не от лени. Просто извёстку не на что покупать... На ферме деньги не платят. Мы работаем, они не платят.

— А как же... — прикладывал он рукав к губам и морщился, но алюминиевая бесчувственность уже ушла из его глаз; они стали обыкновенными, хотя и без блеска. — А как же вы живёте?

— Как все — живём, — пожалала Нюрочка плечами. — Молоко на ферме воруют, по пол-литра. Его мачеха в райцентре продаёт. И творог, если скопился... А молоко мы не пьём сами. Для денег воруют немножко, когда бригадир недосмотрит. Надо за свет платить, за квартиру. Соль, муку и спички только покупаем. И хлеб. На обувь не хватает... У нас уже половину доярок в тюрьму посадили. За воровство. Облава на нас в степи была.

— А начальство чего не заступилось? — парнишка солидно приглаживал сивую макушку. — Ну, типа — бартер: взяли они молоко вместо зарплаты. Доярки... Свои же все.

— Оно само милицию вызвало, начальство. И облаву устроило — оно, — покачивала Нюрочка босой ногою. — Старые доярки и слабые, больные чем-нибудь, до бураков не добежали. На землю попадали. Вот их подобрали. И под суд. Они в тюрьме теперь... У нас уже четыре дома пустые стоят, из них дети разбрелись. В город ушли.

— В чуханы, — кивнул парнишка. — Больше им некуда...

— Вот скоро опять ловить нас будут. В степи, с поличным. А когда — неизвестно... Начальство предупредило: облаву устроят неожиданно.

— Весёлый коленикор, — заметил парнишка. — А зачем же вы работаете? За бесплатно?

— Затем... Без работы все пропадём. Окончательно. Держаться нам не за что будет. А так — надежда есть: вдруг всё наладится... Нет, лучше кое-как, чем никак.

— Не наладится!.. Если сволочи они. Начальники ваши.

— Везде теперь такие, — ответила Нюрочка со вздохом, как взрослая. — Капитализм на нас накинудся! Поэтому начальникам деньги прямо в

карман идут. А из своего кармана кому хочется отдавать? Вот и не платят нигде.

— Выходит, они не воры, а воры... Воры вы, значит? — усмехнулся парнишка.

— Да, конечно! — кивнула Нюрочка. — Пол-литровую банку с крышкой в карман халата ставим, под фартук... У меня не получается пока. Я неловкая. С пустой банкой в основном прихожу. Но я приспособлюсь. А то мачехиным, ворованным, обедаю, а сама... Неловкая... По-честному — надо есть, конечно... Совсем... Я пробовала так. Мне удаётся! Только недолго. Не очень долго.

* * *

Парнишка всё оглядывался на стену, вдоль которой, от пола и до потолка, стояли тяжёлые книги на полках, сооружённых из грубых досок и шершавых брусьев. Старые тома с золотым полуоблезлым тиснением привлекали его больше, но они же внушали какое-то недоумение.

— Ешь свой пряник сама, у меня зуб шатается, — озирался парнишка, цвиркая слюною. — Кажись, выбили, парашники... Книг — до фигища. За чем они вам?.. Пережиток прошлого? Да?

— В той комнате их ещё больше, — оживилась Нюрочка. — Мачеха Маринка выкинуть хочет. Но она добрая. Как увидит слёзы, так соглашается: пускай плятятся... И полки — ещё дедушкины. Он сам их делал.

— Не плотник. Сразу видно, — заметил парнишка снисходительно. — Крепление плохое. Тут пазы нужны. Или уголки. И шурупы! А доски — не такие, покороче. Видишь, прогнулись?

— Он профессор был. Пока не сослали... Один ученик архив его сохранил. Он даже часть библиотеки выкупил. У бабушкиной родни. За дорого. Чужой совсем человек... Багажом сюда отправил, когда разрешение вышло. А бабушку я не знаю. Она здесь недолго жила после лагеря. Только молчала, говорят, и папиросы всё время курила... Там, в книгах, работы дедушкины есть. Статьи старые. Против огульной мелиорации земель в засушливых районах... Он писал, что от земли нельзя требовать того, чего она не хочет. Что тогда она станет умирать под солончаками.

— А от людей зато можно, — кивнул парнишка.

— Он и тут писал всё время, я помню... Хотел, чтобы подсеивали травы, не вспахивая землю. Под снег... Особые травы, которые на радиоактивных землях должны сеяться. У них такой обмен, что верхний слой почвы постепенно делается не опасным для человека...

Парнишка уже думал о своём, облокотившись на стол: видимо, размышлял, как ему теперь быть. И Нюрочка говорила не для него, а просто так, в пустоту:

— ...Эти травы, при подборе и чередовании, помогают друг другу. И сами становятся пригодными для корма скоту. У него вычислений много было... Он говорил, что землю можно лечить травами, как человека.

— Что? Травник? — очнулся парнишка. — Дед?

— Не знаю... Биологию здесь, в школе, преподавал. Но его району не любило, потому что он двоек не ставил. Школьников опрашивать забывал. Только рассказывал, что знал, и гербарии особенные составлять учил. А порочных планов не писал. И календарных тоже. Ему времени на это не хватало... Его потом реабилитировали, а он — всё равно, так и работал без планов, до самой смерти. В школе, дома...

* * *

Сонная муха тем временем ожила за тюлевой занавеской и стала биться в стекло, как припадочная. Нюрочка вскочила. Она взяла в руки самодельную мухобойку, — это была кожаная сморщенная рукавица, кое-как приби-

тая к сучковатой палке ржавым гвоздём, — но, постояв с поднятой рукой и поглядев на зудящую муху пристально, села снова. И муха стихла.

— Пускай поживёт, — сказала Нюрочка, бросив мухобойку на подоконник. — Они счастливые! Им на работу устраиваться не надо. Мухам.

— Ну! — согласился парнишка. — А милиционеров у них вообще нет! Муха мухе друг... Ты видала, чтобы муха муху судила? Лапы выкручивала?

— У них всё ещё равенство, наверно, — нерешительно сказала Нюрочка. — А мы его уже никогда не увидим.

Она загнулась: парнишка опять её не слушал. Вытянув шею, он старался уловить в настенном зеркале своё отраженье, однако оно ускользало, а вставать парнишке не хотелось. Наконец он откинулся к спинке стула, как следует.

— Да! От книжек ваших теперь толка нет никакого, — заглядевшись на себя, осторожно стирал он рукавом засохшую кровь с подбородка. — А эти... труды его толкнуть можно? Кому-нибудь продать? Те, которые дед здесь написал?

— Как это?

— Ну, вот у богатого деньги есть, и охота ему учёным стать. Не будет же он сам голову ломать, правильно? Книг читать — хренува тучу, над бумагой горбиться, когда у него миллионы? Он лучше чужие труды купит. Подсунет, как свои. Да и всё, — прикидывал парнишка. — Сейчас — так! Не иначе.

— То, что он делал, никому не нужно, — покачала головой Нюрочка. — Дедушка для Нового Человека писал. Который появится когда-нибудь. Для Человека разумного будущего.

— ...А он точно — появится? — засомневался парнишка.

— Да. Если мир его не уничтожит... Миру в лучшую сторону меняться не хочется, он к плохому идёт, а помехи — сметает. Заранее. Как только почувет.

— Значит, ещё в зыбке придушит! — поглядывал на себя парнишка, подставляя зеркалу распухшую щёку. — Нечего ждать, короче. Нового Человека...

— Почему? — не поняла Нюрочка. — Его родить можно. Воспитать. Только сберечь трудно будет. А родить — можно.

— ...И что? — парнишка посмотрел на неё внимательно. — Родишь — ему отдашь? Работы все? Да?

Нюрочка покачала головой:

— Нет!.. Их Маринка сожгла. Думала, магулатура... У дедушки почерк торопливый был. Там — то исправлено, то перечёркнуто. Маринка говорит: ни одного чисто написанного листа не было... Его бумаги вон в том большом сундуке лежали, до верха. Мама помнила, что их надо отвезти туда, где он лекции раньше читал. Не успела... А Маринке сундук нужен был. Под старые тряпки... Она жаловалась, что листы лежалые, плохо горели. И совхозная библиотека тоже плохо горела, в которой мама работала... Книги очень плохо горят! Я помню... Их бензином обливали за клубом, на заднем дворе, в темноте. Ночью... Мы с мамой бегали смотреть. Она, дедушкина дочка, в клубе книги выдавала... Потом демократы пришли. Они библиотеки жгли. И клубы разоряли.

— А зачем? — не понимал парнишка. — Почему?

— Потому что варвары... Дедушка давно предсказывал, что так будет.

— ...Гороскопы составлял?

— Нет. Просто объяснял, что завершающий этап революции — ещё впереди... Он про революционеров знал всё: “Их внуки сядут на место расстрелянных, как подменные баре. Спалют советскую власть — и сядут барствовать, вместо настоящих”. Так говорил...

— Ничего себе... У тебя что — память хорошая? — подозрительно сощурился парнишка.

Нюрочка помолчала. Потом пожала плечами:

— Раньше у многих такая была. Даже лучше. Но у кого лучше — тех уничтожили быстрее. Не так медленно...

— Ерунда! — не поверил он ей. — Умные остались, я встречал... Вот физрук наш Пантофель! Молчит, молчит, краснеет. Набрякнет весь — потом как крикнет что-нибудь умное! И все балдеют... На пятёрки в школе училась? Да?

Нюрочка смутилась:

— Я по канату лазить не умела. И по тригонометрии... тройка вышла. Дедушка бы меня презирал. А мама бы сильно расстроилась... Мне без неё стараться не хотелось! Пускай. Тройка — и тройка...

— А куда она подевалась, родная?

Нюрочка стала протирать клеёнку тряпицей, склоняясь над столом всё ниже, потому что за окном уже темнело.

— Спилась, нет? — сочувствуя, спросил парнишка. — ...Ну, спилась, скурилась, это мне без разницы. Не хочешь, не говори. А бумаги... Жалко, что сгорели. Тут сочиненье на одну страницу никак не вытянешь, а он...

Парнишка призадумался.

— Накрылась, короче, вся его работа! — вздохнул он. — Знал бы, не писал, наверно.

— Всё равно писал бы. Дедушка по-другому не мог.

— Значит, знания голову распирали!.. Бывает. С каждым бывает... Я бы кости куда-нибудь кинул! — зевнул он. — Если не возражаешь... Наломались мы с убитой техникой этой. Одни напильники у вас! И отвёртки гнутые... Свёрла — обломанные все. А станков не осталось! Весёлый колленкор, в общем...

* * *

Потом, сбросив грубые ботинки, парнишка лежал тут же, возле стола, на жёстком деревянном диване, отказавшись и от постельного белья, и от одеяла.

— Испачкаю... У меня штаны в мазуте.

— Можешь тогда с вешалки фуфайку взять, — сказала Нюрочка, колебавшись. — Она изношенная давно. Её мачеха выкинуть хотела, но испугалась. Когда ещё хуже будем жить, пригодится. Рады будем и такой.

— Нормально! — потягивался он, заложив руки за голову. — Без всякой фуфайки — ништяк... Ты как думаешь, за два дня работы мне заплатят? Завтра?

— Здесь никому ничего не дают. Пообещают! Но скажут, что пока денег нет. Они так делают.

— Нас вообще-то на месяц нанимали, до учебного года. Но сваливать придётся срочно. Я одному в рожу харкнул... Он моё полотенце нарочно ископировал, а я харкнул. И про магнитофон сказал: "Если вы не загасите свой музон, я вас всех распиною!" ...Эх, был бы кастет!

— Синий час, — сказала Нюрочка, засмотревшись в окно. — Ветер стих... Синий час наступил.

— Чего-о-о? — озадаченно протянул он.

— Глубокие сумерки, — объяснила Нюрочка. — Час взаимопроникновения миров... Он быстро проходит... Это когда растворяется граница между миром живых и миром мёртвых: миром теней... Сейчас живые и мёртвые находятся рядом.

Парнишка помолчал, соображая.

— ...А триперными я их обозвал — за дело, — всё же уточнил он, мрачней. — Не просто так. С малолетками дорожными они ходят. Потом чешутся, как блохастые.

— Вы все из техникума? — спросила она без любопытства.

— Ну. Сначала это фазанка была — ФЗУ. Фабрично-заводское, значит. Потом — ПТО: производственно-техническое... А сейчас — техникум. Говорят, в колледж переименуют с осени! А может, и нет... Когда мы поступили, нам даже старую форму выдали, со склада. Ватные куртки, толстые, а на пуговицах буквы были: "ПТО"... Но мы пуговицы бритвой срезали.

Сразу! Чтоб никто не дразнил. А так — дразнят: “Пидерас-Тепло-Одетый”... У нас один баклан не знал. Вырядился — и в новом домой попёрся! С буквами. Через все Столбцы... Вот угар был... У нас таких весёлых шуток много! Рассказать?

— Нет.

— А то бы я рассказал, — вздохнул парнишка с сожалением.

И озоботился:

— Слушай, мне на двор надо. Уже давно. Вспотел терпеть... Схожу? Не возражаешь?

Нюрочка кивнула, щёлкнула выключателем и ушла в боковую свою комнату. Она легла на койку, не снимая халата, и сразу прикрыла глаза ладонями — сквозь щели перегородки пробивался электрический свет, отчего под веками возникала, подрагивала, рябила неприятная радуга. Потом Нюрочка вытерла влагу в углах глаз. И радуга пропала.

Этой весной за нею опять не пришёл тот — понимающий всё без слов... Не пришёл в последний раз. Он уступил её — этому: приземистому, с разбитыми губами... В мешковатых штанах с пятнами мазута.

* * *

Вскоре звякнула щеколда — там вернулся парнишка. Покашливая, он запер дверь. Через минуту на кухне щёлкнул выключатель. Во всём доме стало темно и тихо, и ночная скука — в углах, под койкой, за шкафом — скапливалась ощутимо. Люди иногда уходили из этого дома насовсем — поочерёдно, а скука оставалась, притворяясь днями, что её нет, и старилась — вместе с неприметно оседающими стенами, с рассыхающимися половицами и дверьми. Но перед окончательным уходом каждого домочадца скука уплотнялась ощутимо. Скапливаясь по тёмным углам, она готовилась занять пространство уходящего. А распозалась — перед самым чьим-то уходом... И Нюрочке уже было ясно, что с парнишкой придётся ей жить всю долгую жизнь — где-то, не здесь. И она будет верна ему одному, всхлипывала Нюрочка едва слышно, спрятав голову под подушку. А тому, чуткому — лучше потом не появляться на её пути...

Того — она ненавидела теперь за всё: за пустое своё ожиданье, за благополучную его нерасторопность, давно уж смертельную для неё. За то, что он предпочёл оставаться бесконечно долго — без неё, в своём умном мире, где тепло от всепонимающей вечной ласки... За то, что даже сегодня пришёл — не он...

За эти свои слёзы обречённости она будет мстить — бессмысленно, безжалостно, безостановочно — тому, промедлившему преступно, если только он объявится когда-нибудь, потом, со своей неземной любовью. Нюрочка будет только мстить, и ничего не сможет с собою поделать... За то, что на дедушкин диван лёг — не он. Лёг другой...

Чтобы Нюрочка себя не погубила, этот избитый парнишка обязан жить долго. С нею одной. Верной ему одному, тихонько всхлипывала она.

...Нет, парнишка не должен помирать рано. Он должен жить всегда. При ней — только дольше неё.

* * *

— Сигарет нету? — спросил парнишка через время, ворочаясь за перегородкой. — Отец твой что, не курит?

— В Россию он уехал. Три года назад, место искать, — ответила Нюрочка с неохотой, сдвинув подушку в сторону. — Мачеха Маринка говорит: сгинул... Сейчас многие люди там погибают. Без всяких вестей.

— Это — смотря какая у него специальность, — рассудительно заметил парнишка. — Вот с нашей — не пропадёшь.

— Он в быткомбинате работал, обивщиком мебели. Пружинные матра-

цы обтягивал. Кресла, диваны. У него много свободного времени было. Потом производство закрыли. Безработный стал.

— ...Что же у тебя мать не за инженера вышла? — спросил парнишка недоумённо. — А за быткомбинатского, простого?

— Он скромный. Мама за скромность всех людей очень уважала, — отвечала Нюрочка в темноту. — Непьющий. И любил её... Она считала, что он очень, очень сильно её любил! Боялась, что так любить её уже никто не сможет... Поэтому только вышла.

— А на самом деле? Не так? — догадался парнишка.

Нюрочка не ответила.

— Здесь луна, между прочим, уже в окошко глядит, — бодро проговорил парнишка. — Здоровая! Лунит, как прожектор с вышки. В зоне лежишь — или где: не поймёшь... А тебе там не видно.

— Здесь у меня тоже светлее стало... Спокойной ночи.

— Спокойной...

— А у меня мать — нормировщица! — громко сказал он тут же. — Отец шепутной, под сокращение попал, но мать обещала: как только женюсь, бабкину комнату в бараке мне отдадут... Они у меня простые. Не жадные... А твоему деду отец-то твой не шибко нравился, да?

— Ему не нравилось, что он в самодеятельности участвовал. Положительных людей в клубе изображал... Дедушка говорил: "Учиться не хочет, а интересничать на сцене соглашается, нехорошо..." И маму упрекал: "За масовика-затейника вышла".

— А она что? Мать?

— Ничего. Пока дедушка живой был, возражала. Потом, когда не стало его, тоже про папу сказала: "Гнилой посох..."

— А полки ваши так, значит, и не наладил? Обивщик?

— Нет... Он мечтал только стать в клубе художественным руководителем — и всё.

* * *

В Нюрочкином окне появился край луны, узкая комната стала видна вся — шкаф, стол, табурет, — и сучка затаилась, уступая место смутному непокою. Засеребрилась, замерцала никелированная коретка койки, и тускло поблёскивало теперь дверное стекло.

— Он добро любил делать! Отец, — сказала Нюрочка, отворачиваясь от холодного, тревожного света к перегородке.

Панцирная провисшая сетка проскрипела под тяжестью её тела и коротко громыхнула.

— Добро? — не понял парнишка за стеною. — Какое добро?

— Разное... Когда все без работы остались, и мама, и он, пришёл знакомый один. Стал просить деньги на ящик водки, для свадьбы. И папа маму спросил: "Как, Тата? Отдадим? У нас ведь есть? Ну, те, что для Нюрочки от деда остались? Они последние, правда"... Она говорит: "Поступай, как сочтёшь нужным". А папа топтался: "К человеку гости приехали. Ему надо". Тогда мама опять сказала: "Как хочешь". И он отдал... Мы потом несколько дней ничего не ели... Это я виновата, потому что каши просила. Как ненормальная... Папа — ничего, а она не выдержала. Взяла кусачки и пошла в трансформаторную будку, провода срезать. Чтобы на металлолом их сдать. А кусачки не изолированные были, поэтому её убило... Я всё помню. Но меня на похороны не взяли, в доме заперли. Чтобы я меньше переживала...

Её слова угасали в полутьме сразу, безучастные, скучные:

— ...Я на диване сидела с куклой, а маму мою хоронили. И кукла холодная была. Тусклый день стоял, долгий... Я ни одно окно не смогла открыть, чтобы выпрыгнуть! Разбить стекло надо было, наверно... Там хоронили, без меня, а я — с куклой... Отперли, конечно, как с кладбища все вернулись... Тот сосед, который у нас деньги на водку забрал, отца по спине хлопал: "Не горюй! Бог бабу отнимет — девку даст!" И за стол они се-

ли... А я от них ушла во двор, стала свою куклу хоронить. Любимую... Всех кукол потом хоронила. Зарывала вон там, на заднем дворе, в куче золы... С ними уже не играла. Книги только читала... Маринка кукол в золе находила. Меня ругала, а я — всё равно... Даже не знаю, почему.

Парнишка спросил про отца:

— А что же он сам не пошёл? Провода срезать?

И Нюрочка ответила:

— Он к этому плохо относился. К воровству... Просить взаймы тоже не мог. Не выносил просто. Ему неудобно было... И только правду всегда говорил.

* * *

То ли от здешней скуки, то ли оттого, что ночь только началась, мальчишка принялся там, на кухне, ходить от окна к дивану, от дивана к окну.

— ...Козёл он! А не скромный. Отец твой, — сказал парнишка. — Ни хрена он её не любил. Притворялся, козлина.

— Просто он положительных людей долго на сцене изображал, — ответила Нюрочка за перегородкой.

На кухне звякнула кружка. Парнишка зачерпнул воду из ведра, не включая света.

— Забудь про него! — велел он и стал пить. — Отца у тебя тоже нет. Вот так считай... И про границы миров, про тени, про синий час — никому не говори. А то подумают, что ты того... с приветом.

Подумав, Нюрочка согласилась:

— Да. Надо молчать. Про это. И про остальное... Особенно про остальное.

— ...А женился потом небось сразу? Отец твой? — парнишка опять укладывался на диван.

— Да-а-а, — удивлённо протянула Нюрочка. — Ты откуда знаешь?

— Козлы всегда так делают.

— Маму похоронили, он на Маринке женился. Через неделю. Говорил, что на девять дней стряпать надо — поэтому, для поминок... Она доярка, зато молодая. Муки белой принесла. И молоком нас напоила сразу... А потом в больницу попала. На ферме бык взбесился и на рога Маринку поднял. Тогда отец Натуюлку привёл. Она ещё моложе Маринки; из десятого класса, второгодница... Сказал: потому что ребёнку нужна мать. И Натуюлка при нём добрая была, а без него озоровала. Ей нравилось тогда людей донимать, по молодости... Но Маринка из больницы вернулась и Натуюлку выгнала. Даже сковородкой стукнула по голове, хоть ещё слабая была... Вот теперь со мной, чужой, и мучается одна.

— А чего ей с тобой мучиться?

— Ну, как... — задумалась Нюрочка. — Я ем всё-таки не мало... Но одежду я никакую не прошу, мачехино всё донашиваю.

* * *

Парнишка, должно быть, заснул или задумался. И Нюрочке в узкой спальне её был слышен только скрип форточки и слабый шум свежего ветра, долетавшего порывами с близкого Жёлтого озера. От солончаков, проступивших на месте каналов, вырытых когда-то для орошения кукурузного поля, тянуло морским запахом бледной травы солянки, сорной, переспевшей, осыпающейся в июле сухими семенами. Когда ветер дул со стороны степи, бывал он другим — душным, горьким от польняка...

— Надо спать, — сказала себе Нюрочка, думая, что новую осень и новую зиму ей тут уже не перенести: то ночная скука вытесняла её из дома.

— ...Хорошо, что он провалился, козёл! — вдруг сердито проговорил за перегородкой парнишка. — От таких толку не бывает. Зато мороки полно... Ты бы с ним замучилась. Вкалывать бы устала на его доброту... Забудь! И про деда своего забудь. Он тебя с матерью в глуши оставил на этого козла...

— У дедушки сил для нас не осталось. И для себя — тоже... Ему учёное звание вернули, но он тут жить привык. Старенький уже, повторял: “Всё поздно”. И ещё: “Не всё ли равно, где человек превратится в прах? А здесь, в степи, мы превратимся в прах радиоактивный, всё больше пользы для будущих атомных станций будет”... Но мама говорила: “Ему больно. Туда, где много непосильного пережито, люди не возвращаются”.

— На это, короче, тоже наплой, — перебил её парнишка. — Не вспоминай! Одна — так одна.

Он помолчал озадаченно.

— Тебе, слушай, озвереть надо! — решил он. — А то... Сдохнешь ты с этой мурой. Забудь. Всех!.. Всё забудь, слышишь?! Выкинь из головы.

— У меня голова ничего не забывает, — призналась Нюрочка с печалью. — Я не сумею.

— Значит, очоуришься... Ворон тут у вас, в вашей “Победе” долбаной, как грязь! Выходил во двор — всё небо чёрное, колышется... — зевнул парнишка и затих.

* * *

Потом из кухни не доносилось уже ни шороха, ни скрипа. И Нюрочка задремала.

— Ты тоже меньше говори, — сказала она парнишке сквозь сон. — Про козлов. И про коленкор.

— Замётано, — пробормотал он. — ...Я вообще-то молчу обычно. Это я так: понты колотил. А вообще...

Но Нюрочка его не слышала. На голове её опять была обвислая полотняная шляпка цвета глины, с морщинистыми полями. И суровый, равнодушный дедушка снова вёл её, маленькую, за руку, из совхозного магазина. Ей хотелось плакать и топтать ногами от обиды — такой жгучей, словно её укусила в детское сердце невидимая взрослая оса. Но топтать и плакать ей не полагалось.

— Почему? — всхлипывала всё же Нюрочка. — Скажи! Почему ты не купил мне стеклянные бусы? Синие бусы... Я просила! Мне продавщица их отдала! А ты отобрал... А ты не купил!

— Потому, что твоя бабушка и прабабушка таких бус не носили. Ты можешь носить только то, что носили они.

— ...Они что носили?

— Я помню сапфиры... Синие, — медленно вышагивал он. — Запомни.

— Скажи! Где? — дёргала Нюрочка его руку. — Они где?

— ...На дочерях и жёнах наших палачей, — размеренно и спокойно выговаривал он ей с высоты роста. — Свои сапфиры ты увидишь когда-нибудь на шеях внучек их, правнучек. Очень может быть, что увидишь. Кто-то их носит сейчас. Передаёт по наследству... Но ты об этом будешь молчать. А носить стеклянные тебе не положено... Запомни: нельзя.

— А какие бусы буду носить я? — растерялась маленькая Нюрочка.

— Ты? — равнодушно оглядывал дедушка блестящие от солнца небеса, потом — совхозные дома с облезшей штукатуркой и кучи золы вдоль дороги. — Ты — никакие.

— Мои бусы — никакие?! — выдернула Нюрочка свою руку из тяжёлой взрослой ладони и остановилась. — ...Нет! Я очень сильно хочу! Хоть какие-нибудь!..

— Ты — будешь жить без украшений.

Тогда она сорвала с себя полотняную морщинистую шляпку и бросила в дорожную пыль с размаха.

— Я не буду — совсем безо всего! Жить! — закричала маленькая Нюрочка. — Совсем не буду. Пусть они отдадут! Синие! Мои!..

— Ты будешь жить безо всего! — повысил голос дедушка. — Ты будешь жить!

— Не-е-ет... — редела Нюрочка и била дедушку по руке. — И шляпку тряпичную вашу носить больше не стану. Противную! Не надевай на меня!

Не смей! Я её утоплю... Почему мне нельзя — ничего? Почему — ничего мне нельзя, никогда?! Почему?!

— А? — переспросил парнишка за стеной. — Не расслышал.

— ...Мне на ферму в пять утра, — проговорила Нюрочка невпопад, проснувшись окончательно. — Рано вставать. Завтра.

* * *

Он, кажется, обрадовался тому, что она там, у себя, слышит его и разговаривает через стенку.

— А ты что, все их перечитала? — спросил он недоверчиво. — Пуды эти? Которые на полках стоят?

— Не все... Многие... Я на пустырь уходить стала, от отца с Маринкой. Там людей нет, один бурьян. Небо... У меня своя небольшая ямка в польни была. Удобная. Польнь цветёт хорошо! Душисто... Дедушкины, научные, зимой читала, дома. А Чехова — всё время на пустыре.

— Зачем?

— Он врач был... Я на физиолога учиться хотела. На психолога. Стала бы, как Сеченов. А теперь... Только стихи учу. “Под насыпью, во рву нескошенном, лежит и смотрит как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая...”

Парнишка крякнул и засопел. Потом спросил — от безделья, должно быть:

— А он про мужиков тоже писал? Этот?

— Писал. Про мужиков, — ответила Нюрочка. — “И взвился костёр высокий над распятым на кресте”... Я у Блока наизусть два тома стихов знаю, а у Брюсова — некоторые только. Про мемфисские глаза. Про цветы усталых георгин...

— Они что, тоже врачи, Брюсов и Блок? — зевал парнишка.

— Нет.

— А зачем тогда учила?

Нюрочка во тьме пожала плечами.

— ...Когда их читаешь, обида на людей вся из тебя выходит, — вздохнула она. — От обид сердце тяжёлое делается, будто на нём полное ведро висит... Обиды жилы вытягивают. Даже валерьянка не помогает. А от стихов сердце горькое становится, зато лёгкое. Свободное от людей...

Она встала, прошла на кухню и включила свет. От неожиданности он зажал глаза ладонями.

— Чего ты? — спросил парнишка.

— Я приёмник взять к себе хотела, музыку тихонько послушать. Передумала уже... Прости пожалуйста.

Нюрочка отпила воды из ковша, выключила свет и вернулась к себе за перегородку.

— ...Приёмник, тот? На окне который? — спросил парнишка через время. — Он что, твой?

— Мачехин, — сонно проговорила она. — Ей этот подарил... С которым они вместе уехали...

— Свинтили, короче, — понял парнишка.

* * *

Ближе к утру он вдруг спросил:

— А у тебя кто-то был?..

Она проснулась не сразу, и он повторил из-за перегородки внятно и настойчиво:

— Сколько у тебя их было?

— ...Как это?

— Добрые все гулящие, — сказал он отчуждённо.

— Думай, как хочешь, — голосом, севшим от обиды, проговорила Ню-рочка в подушку. — Мне всё равно.

Парнишка повздыхал немного и пояснил:

— Добрые “нет” говорить не умеют... А порядочные — одни злые только.

Она не ответила ему. Но спросила вскоре:

— ...Ты как считаешь, Бог есть?

— Есть, — ответил парнишка сквозь дрему.

— А я считаю, что Его убили.

От жалости к Богу у Нюрочки заболело в боку. Она простонала даже, но, спохватившись, затихла.

— ...Кто? Убил? — неожиданно очнулся парнишка.

— Злые силы, — не сразу сказала она. — Давно уже. Очень давно.

— С чего ты это взяла?

— Он бы нам помогал, если бы живой был. Всем бы помогал. А так... Раз не помогает, значит, погиб.

— Спи, — сказал парнишка. — Он — есть. Я тебе потом докажу.

Когда утром Нюрочка пришла с фермы, парнишки дома уже не было. Приёмника — тоже.

Она попробовала съесть коврижку. Но уронила.

— Быстро поднятое не считается упавшим, — проговорила Нюрочка рассеянно.

Потом она сидела, упершись лбом в прохладную стену и закрыв глаза. Ближе к вечеру приехала мачеха.

* * *

Маринка расторговалась плохо, ничего почти не выручив. Задумчивая и усталая, она сказала, чтобы без приёмника Нюрочка не возвращалась.

И Нюрочка кивнула ей с готовностью:

— Я не вернусь, — но обеспокоилась: — А кто тебе на ферме поможет?

— На какой ферме? — махнула рукой Маринка и стала умываться. — Режут коров, там рёв стоит...

— Кто? — встревожилась Нюрочка. — Режет?

Маринка её не услышала.

— Хотели с той недели всех пустить на мясо, — вытирала она полотенцем обветренное, красное лицо. — А чего ждать? Сенокоса не было, люцерну не сеяли. А камыш для коров грубый... Скотник не хочет их к Жёлтому озеру гонять. И далеко, и без толку... Поезжай! От тебя и так пользы мало было. У тебя пальцы слабые... Чего с тобой теперь делать? Не годная ты ни на что... Тебя даже на тракт не поставишь! Ты и одного раза не выдержишь; удавишься или с ума сойдёшь.

— А ты как без работы жить будешь, Маринка?

Мачеха не ответила. Приметив муху, сонно ползающую по стеклу, она вздохнула и шлёпнула её мухобойкой, но не попала, думая о своём. Оглушённая, муха свалилась на подоконник и замерла. А Маринка уселась за стол, огладив юбку.

— ...Что? Накрылся твой Паганини? — она посмеялась над Нюрочкой — пренебрежительно, но не обидно: как над опостылевшей подружкой, которая загостилась, прижилась и забыла, что пора бы ей отправляться за порог.

— Его всё равно редко передавали, — ответила Нюрочка. — Тот концерт.

— Это не музыка была, а пилорама! — заметила мачеха, потянувшись. — Тоже мне, концерт...

— А ты мне денег на дорогу найдёшь? Сколько-нибудь?.. Автобусом дорого, конечно. Мне только на попутку. На еду не надо. Я притерпелось.

Мачеха откинула лёгкие свои кудряшки со лба. Она быстро соорудила из них на темени витиеватый хохолок и защёлкнула пластмассовой жёлтой за-колкой, ничем почти не отличимой от бельевой прищепки.

— С этой продажи — не дам, — сказала Маринка, уронив тяжёлые руки на колени. — Милиция нас гоняла. С места на место. Второпях продавали. За бесценку... А больше продажи не будет!

Мачеха вздохнула печально — и чему-то улыbnулась мимолётно.

— Весёленькая. Заколочка... Тебе такую же хотела купить, а хватило на одну, — добавила она, уже не помня досады. — Дать поносить? “Краб” называется.

— Не надо.

— А хочешь, подарю? На память?.. Форсить будешь в городе, вспоминать.

— Я не сейчас поеду за приёмником, — подумав, решила Нюрочка. — В сентябре. Если, конечно, он не привезёт его раньше.

— Так он и привез! — грустно посмеялась Маринка с весёлой своей прищепкою на голове. — Дурак он, что ли? Не привезёт! Не жди... Давай чай пить. Воды-то хоть натаскала? Разява...

И он не привёз.

* * *

Ровно через месяц Нюрочка на попутке добралась до техникума в Столбцах. Морщинистый шофёр только посмотрел на её деньги и отмахнулся, закуривая:

— Оставь себе. На ситро... Булку, может, купишь. А то ведь нынче... никто никому не рад, нигде. Ну, прыгивай, сказал! С копейками своими. Деловая...

Ивана Нюрочка отыскала в конце длинного сумрачного коридора, в толпе, которая переминалась и гадала. Трещал оглушительно электрический звонок, истошно кричал какой-то учитель, размахивая над головой журналом: “Сесть! По местам! Немедленно!” Но на двери было написано мелом: “Кто первый войдёт в класс, тот пидера!” И толпа гоготала, толкалась и гудела, пока в дверь не шагнул сам учитель — зажмурившись, выдвинув журнал вперёд подобием щита.

Из этой толпы Иван увидел приехавшую Нюрочку позже, чем она его. Он сначала обрадовался, а потом насупился, пробираясь к подоконнику.

— Идём во двор, — сказал он деловито, застёгивая джинсовую новую куртку до горла, и штаны на нём были чистые. — Я приёмником с шофёром расплатился. Уже в магазине был. Два раза. Такого же не нашёл. Говорят, марка древняя. Правда... Только на барахолке сломанный продавали, я не взял.

Потом добавил, оборачиваясь на ходу:

— Деньги за него привезти собирался! А тут... некогда всё время. Я в мастерской кастет выгачивал. Классный кастет! Вчера закончил...

Во дворе чернел остов полуразобранной грузовой машины без колёс. Вокруг неё розовела тусклая пустота — без травы, без единого куста. И в сентябрьском небе не было ни облака, ни тучки. Но ветер гулял широко, от забора к забору, вздымая, кружа клочки старой бумаги.

— Тогда по-другому нельзя было, — говорил он хмуро, оглядываясь на окна. — Не свалил бы из вашей “Победы” — изувечили бы. Извини...

И там, на сорном ветру, Нюрочка, постояв немного, отвернулась от Ивана и пошла прочь.

— Эй! — крикнул Иван, не зная, как её зовут. — Ты, наверно, есть хочешь? Айда к моим родителям. Придумаем по дороге что-нибудь.

— Что? — сквозь слёзы спросила Нюрочка, обернувшись.

Он смотрел издали на её рваные синие сапоги, на широкое платье из тусклого сатина и колебался, соображая.

— Ну, давай, наплету им, что я на тебе женюсь! — насупившись, решил он. — Только Облома попрошу ранец мой забрать. И пойдём.

— Ты родителей тоже обманываешь? — спросила она.

— Почему? Я скажу: “У нас будет ребёнок”, — Иван почесал затылок. — Он же у нас будет!

* * *

...И вот у них есть Саня.

Младенец спит. И дышит тихо, тихо...

Наощупь, в темноте, Нюрочка проверяет, не сбилось ли его одеяло... Жаль, что Саня ещё не научился улыбаться ей: при свете он только жмурится и морщит лоб, как маленький старичок, и взгляд его пока неустойчив, потому что видит он два мира одновременно, об одном из которых ему придётся забыть совсем скоро... Но Саня спит, а Нюрочке сейчас не видно ни одного из миров. Даже в окне — черным-черно. Небо вынужденного греха висит над Столбцами — тяжёлое, непроглядное. Под ним растёт её сын. Скоро он научится улыбаться. Под небом вынужденного греха.

— Тихе, тихе... — в темноте шепчет Нюрочка над младенцем, покачивая коляску. — Ничего, ничего... Расти... Неправда, что нас больше нет... Скоро придёт твой папа. Он принесёт выручку... За нехороший товар... За очень, очень нехороший... И тогда мы будем дальше жить. Жить... Мы на свете есть, мы есть на свете... Только света вот нет. Никакого...

Уже забравшись под одеяло, Нюрочка то ли жалуется ребёнку, то ли утешает его со своей постели, в полудрёме.

— Мой дедушка, Саня, говорил, что в чужой жизни не живут, доживают, — шепчет она с закрытыми глазами. — А я ему верила... Что мы — живые мертвецы. Что нам ничего не положено. И ничего уже не надо... Но ты не думай так. Никогда. Нет... Расти!.. Когда, Саня, за тобой пойдут такие, как мы, ты скажешь: им — надо всё наше!.. И тебе поверят... Всегда верят люди тем, кто ищет добра своему народу и кто говорит во благо всего племени своего... Это благо не должно быть меньшим, чем благо других племён... Оно никогда уже не должно быть меньшим... Живи!.. Слышишь, как старик чиркает спичкой в коридоре и кашляет? Это сосед наш ходит, у него астма разыгралась на снег... Он тоже — живёт. Ему плохо, а он живёт... Скоро большой снег пойдёт, Саня. Большой снег... Всё чёрное станет белым. Только очень, очень холодным... Чистое — оно такое холодное, Саня! Просто невыносимо...

* * *

Тарасевна тоже слышит, как покашливает старик. Плохо соображая со сна, она пытается вскочить немедленно: отнести надо эфедрина ему, срочно, где-то у неё оставался початый флакон... Однако уже через мгновение она успокаивается и смотрит в темноту, как смотрят в ночное небо без звёзд. Нет у неё эфедрина давным-давно. Дочь-фельдшерица, красавица Галя, выкинула всё из аптечки в мусорное ведро, накрыла газетой и сказала:

— Пока эти внуки к старику ходят, чтобы никаких таких препаратов у тебя близко не было! Ни кофеиновых, ни кодеиновых. Ни снотворных... Поняла? А то будут эти стариковы ублюдки трясти тебя за грудки. Вверх дном они всё тут перевернут, наркоманы... Терпи! Без эфедрина... Заболеешь, у нас лечиться будешь, не здесь... Слышишь? Лучше терпи!..

Дочь оставила ей только от удушья какую-то пластмассовую пшикалку с горбатым хлипким носиком — и всё. Может, дать старику пшикалку?

Вроде затих... Всех кашлем перебудил, а сам вернулся к себе — и ведь уснёт в единый миг!

Недовольная всем белым светом, которого не разглядеть во тьме, укрылась от него Тарасевна одеялом с головой, подтянула острые коленки к дряблему животу, изумилась: да что же у неё в ушах так гудит? Давление у Тарасевны, значит, поднялось. От лишнего беспокойства. И снаружи — тоже... Гул, гул... Надвигается издалёка...

Будто по всей холодной земле гул и стон идёт, и близится, и нарастает. И Полинин голосок всё звенит, не смолкая: “Терпеть буду... Терпеть...”

* * *

Но за стенами домов в тот миг неожиданно стихло всё. Опала злая позёмка. И тьма сдавила ветры.

Никто в Столбцах не видел происходящего. Сон, тёмный, как обморок, накрыл всех, от мала до велика. Он был теперь так глубок, что людям не снилось ничего. А наступившая тишина всё сгущалась. И она стала уже такой плотной, словно мир ещё не был сотворён, и не происходило ничего. Только вверху, над Столбцами, зарождалось совсем слабое, мутное, малое пятно, которое было чуть светлее тьмы. Оно заметно росло, ширилось и принимало багровый тревожный оттенок. Небесная же тьма вокруг пятна высветилась новым кругом, свинцово-серым, словно в вышине образовалась жадная воронка. Ночной город с невидимыми улицами и домами обмер в сплошной черноте, под сосущей небесной бездной...

И вот багровое пятно над городишком стало быстро сужаться, вбирая в себя свинцово-серый обод. Тихонько задрезбуждали уцелевшие стёкла в окнах. Как вдруг вся уличная крошечная тьма, закружившись, с воем и гулом устремилась ввысь. Сдавленные ветры, вырвавшись наружу, помчали по кругу колючий мелкий снег, пыль, щепки, сор, завинчивая всё в тугую спираль, устремившуюся в небесный багровый зрак. Ледяным ветром срывало с крыши листы шифера, грохочущей жести, хлопало их оземь, тащило, разбивая, переворачивая, вместе с обломками вывесок по разбитым дорогам.

Задрожали металлические остовы бывших цехов, загудели провалы брошенных многоэтажек. И полуразрушенные крупнопанельные корпуса, словно гигантские воздухопроводные трубы органа — с клапанами потолочных перекрытий, обвалившихся местами, с дырявыми крышами и сквозными колодцами лестничных пустых пролётов, — зазвучали басовито и широко. Звучание разрасталось в ночи. Городишко ревел в небо, свистал и выл, содрогааясь.

Зима овладевала городом. Она норовила снести махины тяжёлых голосящих домов и завертеть их по кругу, как спичечные коробки. И не было больше багрового зрака в вышине, лишь свинцовая серость тихо плавала над бурей, теряя свои очертания, пока и её не поглотила воющая, ревущая тьма. Только сухое электричество посверкивало мелкими холодными зимними молниями, коротко вспыхивающими в недостижимой высоте...

Их видел с порога котельной один лишь старый истопник Василий Анисимович, разбуженный только что шелестом золы и дробным стуком мелко-го шлака о стекло низкого кривого оконца. Придерживая ушанку на голове, укрываясь за дверцей, норовящей вырваться из рук, он поёживался от свистящего ледяного ветра:

— Стихия...

* * *

С трудом задвинул истопник щеколду в пазы. Он вернулся к себе в прокопчённую каморку, размышляя о том, что пора припрятывать понемногу съестное и спиртное для будущего; для главного лагерного беспрекословного праздника — для двадцать второго декабря.

Там, на давних, прошлых лесоповалах, вместе с тёмной свирепой зимою, изгоняющей позднюю осень в ночь великого перелома, наступало время повальных смертей — время самоубийств, травм и отчаяния; оно длилось, опаснейшее, до самого зимнего солнцеворота. И всё это время жизнь заключённых болталась на немислимо тонком волоске, раскачиваемом лютыми ветрами. Чёрная воронка ранней зимы втягивала в себя слабые человеческие жизни почти беспрепятственно.

— Стихия... Перелом в тёмную зиму... — поёживался Василий Анисимович. — Пора уходить в режим экономии сил...

А в самую длинную ночь, дождавшись двенадцати часов, они поднимают по рюмке спиртного и скажут по старой привычке: “Баста! Двадцать второе... Тёмная зима перешла в зиму светлую: конец хандре. День пошёл на прибыль, выжили! И, значит, год ещё протянем как-нибудь. А там видно будет...” И нальют они потихоньку ещё — из тайных своих запасов: “За то, что выжили!” Пожуют что-нибудь сухое, корябающее голые дёсна. И долго будут сидеть неподвижно — постигая, осмысливая, ощущая переход солнца на свет, на весну и жизнь... Вслушиваясь в происходящее в вышине, замирает бывший лагерный люд — перед тем, как помянуть всех новых погибших. А там — снова: “За то, что тьму одолели. И эту тьму, да...”

Охрана будет гулять в день рождения товарища Сталина, а изгой — арестанты, лагерная пыль — двадцать второго...

Здесь, на воле, это скрытный праздник одиночек — угрюмый, сокровенный, пожизненный. Они готовятся к нему так же задолго, как прежде: припрятывая всё необходимое потихоньку, постепенно, заранее, в тайне от близких, в тайне от прочих — не битых, не калеченных; от всех, кто не хаживал под конвоем, не спал на цементном голом полу карцеров и чья одежда никогда не впитывала запахов параши. В квартирах, бараках, домах и домишках, в лесах, в степях, в городах, в деревнях, по всему бывшему Союзу, от края и до края, без учёта новых границ — готовятся сейчас уцелевшие к тому, что будет происходить в декабре... С первых же дней тёмной зимы, съедающей световой день — съедающей свет в душе, съедающей надежду на жизнь.

— Пора, — бормочет истопник, прибирая со стола одинокую корку и бережно её укладывая в рундук под топчаном. — Вот так. Выживать начинём — тихо, прилежно... В самое опасное время вошли... Холода!

* * *

Но вовсе не буран гудит в ночи и сотрясает стёкла окон. То летит, раскатывается, разрывая солдатские глотки, многоголосое “ура” в бывшей немецкой казарме, похожей на ангар. И Бухмин кричит как будто вместе со всеми, однако не слышит себя нисколько... Таинственное существо — человек, думает он, орущий во всю мощь молодых лёгких: всё, что досталось ценной непомерных лишений и потерь, самое заветное и желанное, исполнившись вдруг, оказывается уже не способным оживить натруженное солдатское сердце обычной радостью...

И позже он не ощущал победы — под грохот орудийных салютных залпов на чужой земле. Сильнейший надрывный восторг — был, и смертельная телесная тупая усталость — тоже; она навалилась после объятий и тостов за чёрным прусским столом из морёного дуба...

И спешка была, и суматошная, возбуждённая отправка: домой... Но вот полетел в лицо ему, вместе с запахом пыли, полынный утренний ветер, знакомый с рождения, и это уже была — она: победа, окончательная, свершившаяся...

Прииртышье кидало под колёса дребезжащей полуторки степную дорогу, бегущую меж белёсых пропашин солончака и весёлых зелёных пригорков, за которыми прятались по низинам кусты цветущего тамариска. Победа, выстукивали пальцы заветное слово по крыше кабины, сидел в которой за рулём сосредоточенный мальчишка в промасленной фуражке-восьмиклинке с кривым, надломленным козырьком. В него, мальчишку, никто уже не будет стрелять: победа...

* * *

Теперь всё, всё складывалось у Бухмина как надо и само собою. Молодой своей тётке, самой младшей сестре матери, он сумел дать телеграмму

с какого-то захолустного вокзала — и не отстать от поезда. И полуторка подоспела на утренний полустанок, словно по заказу: мальчишка из артели доставил городского ревизора прямо к вагону, из которого выскочил Бухмин. Старичок с бороною Калинина и с его же круглыми очками так боялся опоздать в центр, что выронил папку с отчётом. Бухмин и мальчишка ловили разлетающиеся по перрону листы, совали их старичку в протянутую из тамбура жёлтую цепкую руку, махали ему: “Счастливо!” И вот в лицо Бухмину летело, мчалось знакомое свежее небо.

Победа, ликовала душа его, устремлённая к старому бревенчатому дому на кирпичном фундаменте, к жёстким мальвам под окошками, к резному буфету, где хранились твёрдые фотографии бородатого отца и дородной матушки, прочатанные понизу замысловатым тиснением: “Семипалатинская губерния Российской империи”...

После революции, правда, губерния становилась и киргизской, и казахской. И родителей Бухмина давно уж не было в живых. Но осевший дом — с запахами старого дерева и мелких сухих яблок, со скрипом широких крашенных прогибающихся половиц, с дряблым тюлем на окнах — ждал его, и звал, и притягивал всеми сумрачными своими чуланами, закутками, спальными углами, зашторенными цветастыми занавесками. Особенно же — чердачным санным лежбищем за каменной трубою, где много книг было перечитано им в беззаботной сладостной тишине. Там скрывался подраставший поэт от крестьянской скучной работы — надоевшей, бесконечной: натаскать в баню воды, вычистить сарай от навоза, наточить бабы затупившиеся серпы, прогнать наглых коз из капустных грядок, починить забор, сложить дрова под навес.

И с этого же лежбища когда-то хорошо было видно Бухмину сквозь щель в крыше, как юная тётка его стоит за углом дома с женихом своим Павлом, тоже — Родиным, потому что фамилию эту носило полсела. Если бы тихонько присвистнул Бухмин сверху, то перепугал бы тётку до смерти. Вот бы отпрянула она от жениха, вот бы кинулась в дом со всех ног! Мыслимое ли дело — стоять хорошей девице с парнем на виду? Но не свистит Бухмин, хоть и очень хочется. Только наблюдает, как торопливо шепчутся они, поглядывая по сторонам, договариваясь встретиться в синих сумерках, как на прощанье касается он с осторожностью молодых волос её — тяжёлых, сияющих под солнцем свежо и шенично. Всё-то она просила присмотреть ей крупный гребень, потому как обычные гребёнки не удерживали литых, длинных кос её на затылке. И Павел обещал достать хоть из-под земли — необыкновенный, черепаховый. В семипалатинских магазинах, заваленных товарами, бывают такие, он знает. И она улыбалась ему благодарно — заранее.

* * *

Тарахтит полуторка, взбираясь на пригорок, чихает сизой гарью, дёргается. Но зато под гору мчитесь резво, набирая скорость... Вот уж видна Бухмину, летящему в ветер, стайка серебристых тополей, под одним из которых ударила его по лицу угрюмая девочка Марья... Отвергнутый тот поцелуй больно вспоминался ему, плачущему на чердаке, за каменной шершавой трубою, и не забывался никак. Внезапная горячая оплеуха горела на мальчишеской щеке, не угасая, до тех самых пор, пока не приноровился он рифмовать самые горькие слова со словами красивыми в одной толстой общей тетради. Она и сейчас, наверно, лежит за трубою, в укромном месте, заложенная на последней исписанной странице простым карандашом, искусанным с конца изрядно...

Унылый, грохочущий, грязный ад войны был пройден Бухминым из края в край — безропотно, обречённо, терпеливо, — чтобы вернуться на тот чердак обязательно и чтобы жить в своём доме вечно. А когда завершится земная мирная вечность, лечь в рыхлую, сухую землю, рядом с могилами милых родителей и двух старших братьев, незнакомых, умерших ещё младенцами давным-давно. И вот уж он, последний дорожный поворот, от которого —

только ложбину перейти да лужок. И торопливо колотит Бухмин кулаком по кабине:

— Стой! Вон, тётка меня встречает... Стой!..

И кричит он мальчишке-шофёру, перемахнув через деревянный борт кузова со своим вещмешком:

— Счастливо тебе, браток. Победили!

И слышит из-под сломанного козырька солидное, казачье, надменное:

— А то!

* * *

Белёная земля толкнулась в подошвы солдатских его сапог: победа! Но отчего-то высунулась на миг из великого, расцветшего на крови, завоёванного слова — змеиная голова другого: беда... Недвижно стоит на обочине тётка Родина в длинном мужском пиджаке с закатанными руками, и не кидается ему на шею, а только глядит, словно спит с открытыми глазами, сжимая что-то тяжёлое в правом кармане.

Бухмин прижимает её, безучастную, к себе, целует наскоро в тёплую козырьку, отстраняется от исхудавшего, потемневшего лица её:

— Ну, как вы тут? Говори!

Озабоченно сводит тонкие брови тётка Родина, припоминает, припоминает что-то важное — и молчит.

— ...А Шарик-то у нас ведь с ума сошёл! — расстроившись вдруг, всплещивает она руками, и уходит к селу торопливо, по узкой тропе — через ложбину, и сокрушается на ходу, и качает головой: — Такой хороший пёс был! Такой умный!.. Теперь ненормальный.

Бухмин, закинув вещмешок за спину, едва поспекает за нею, обходящей мелкую весёлую лужицу с плавающим солнцем. И всё умиляет его: тёткина быстрая поступь, брезентовые её тапочки, ситцевая юбочка в мелких выгоревших цветах, знакомая, довоенная. Но особенно — пшеничная тяжёлая коса, выбившаяся из-под косынки. Болтается она, неприбранная, свешивается ниже пояса. А вместо ленты иль узорной тесьмы влетела в тёткины волосы грубая бечёвка, отрезанная от катушки шпагата и завязанная понизу на суровый узел. Но у него, Бухмина, лежит в вещмешке полукруглый гребень из самой поверженной страны Германии. Крепкий гребень, высокий, с вишневыми прозрачными переливами, с тремя тёмными тусклыми камушками в резных узорах; что твоя корона... Ещё немного, совсем немного — и выкинет серую верёвку из косы его милая тётка Родина. Поднимет она пшеничные тяжёлые волосы, заколет их чужеземным, завоёванным гребнем — станет императрица императрицей над всеми странами, освобождёнными Советской армией!

Скоро, улыбается Бухмин. Осталось через четверть часа порог дома перешагнуть. Победа, победа, это — она...

* * *

— Помнишь ты Шарика нашего? — не оборачивается тётка Родина, а сгибается то и дело на быстром ходу, выдёргивает, тащит из бурьяна сухой корявый прут и ещё один подбирает; для печки. — Как только забор мы зимой сожгли, разгородились перед всем светом, он, Шарик, всякую границу потерял! Без забора не понимает, сколько земли нужно охранять. Стал думать, что теперь всё село — наш двор. Носится с утра до ночи по большому кругу, лает, лает, того и гляди ноги протянет... От усердия так умаялся, глупый, так отошал — роздыху не знает! Охрип совсем Шарик. С ума сошёл. Нет, разве так можно — себя не жалеть? Всех охранять, кого ни попадя?! Дети на речку ушли. Вернутся скоро. Ты их не узнаешь, подросли... А Павел погиб.

— Ты писала, под Курском, — идёт за нею, след в след, Бухмин. — Там наших много сгорело в танках. Тыщи ребят пропыхали, как свечки. Я знаю.

— Как свечки, — повторяет она голосом покорным, угасшим. — Наверно... А нам написали, что — пал. Не сгорел, значит. Павел.

Спешит тётка Родина, торопится. Бежит на горку в мужском просторном пиджаке, прижав тяжёлый карман правой рукою. А левой, пригибаясь, всё подбирает что-то — палку, сухую ветку, прут.

— На, и ты носи...

И снова вскрикивает сокрушённо:

— Убьют его! Шарика... Грозилась... Вон он бежит! Извёлся, дурак ненормальный. Стал скелет... Гляди: шерсть клоками висит. В репьях весь, и бока ввалились... Страшный, как чума карагайская... Мешает всем Шарик наш! Убьют, сказали.

— Кто сказал?

— Кто... Чеченцы!

И вот уж она, околица села. Но ничего не узнаёт вокруг Бухмин, поглаживая на ходу скулящего запаршивевшего пса, жмущегося к ноге:

— Привет, трудяга...

— Видишь, сакли у нас теперь, — сухой палкой показывает тётка на глинобитные странные строения, сооружённые наспех. — Сроду таких тут не бывало.

И Бухмин, с хворостом под мышкой, видит на улицах всё тех же плечистых горцев в каракулевых папахах, и прямых молодых женщин, и неприветливых старух, похожих на орлиц, и смуглых детей, играющих в ножнички.

— Ты вот зря в военной форме приехал, — опасливо косится на Бухмина тётка Родина. — Не любят они военных. А ты ещё и с медалью. Какая у тебя?

— “За боевые заслуги”.

— Ну вот. Уже заметили они. Надо было — в гражданской одежде...

* * *

Помчался Шарик дальше, вокруг села, под свой хриплый, глухой добросовестный лай, похожий на кашель. И дом, родительский, просторный, словно сжался в размерах и не узнаёт уже Бухмина, бросившего к печке сухие прутья. И те же запахи в нём, те же половики, те же занавески. А души дома не осталось, что ли? Истаяла будто душа.

Тётка Родина вытащила нож из кармана.

— Садись! — сказала. — На венский стул. Один старинный, дедушкин, уцелел у нас... На, режь хлеб, Феденька. Дай, поцелую тебя в макушку.

Ткнувшись лицом в вихры Бухмина, тётка проговорила задумчиво:

— Живой... Маковка поездом пахнет, пылью, — и села напротив, подперев щёку ладонью. — Живой... Режь, режь.

— погоди!

Привычным движением, не вставая, достаёт Бухмин с полки брусок. Плеснув на него водички из чайника, прилежно и мерно чиркает краешком лезвия по сырому.

— Вот, две хотушки в доме были, ты и тётка Бухмина, — улыбается он мальчишеской своей поре. — А встречаешь — одна.

— Писала, что, как состарится, то помирать сюда приедет! Хотушка, — рассеянно отвечает тётка Родина, постукивая створками буфета. — Не хочет, чтобы её в Сахалин зарыли... Письма тебе поискать? Если надо — поищу... Она и сыну своему наказала, давно уж: “В Сахалине лежать не буду!” А я ей отписала: “Поживёшь ещё! Не старая...” Там у них рыбы морской много, она для здоровья полезная... И для здоровья, и для долголетия.

— Та тётка мне чужее была, — сказал Бухмин. — Она меня за вихор драла, бабища.

— Один раз — ничего! — посмеялась немного тётка Родина. — Вот не надо было её почерком записки Тимоньке горбатуму писать: “Я тебя люблю, давай поженемся”... Она, может, с этого расстройства к солдату своему на Сахалин уехала поскорей, от стыда. И выйти не успела, как разошлась... Из-за тебя всё, Феденька!

Но снова будто тенью накрывает тёткино лицо, просветлевшее только что.

— А шкерят они рыбу — это солят, что ли, на заводе у себя? — спрашивает она озабоченно, ставя на стол миску с двумя рыжими оладьями. — Или это — потрошат?.. Сытно, наверно, при рыбной-то работе жить, при пищевой, а? Федь? Всё уж отходы какие-нибудь им достаются! Жабры на ушицу, небось, каждый день!.. У нас тут Митя пескарей майкой наловил, в ямах, когда половодье спадало. Вкусно тоже нам было...

Но Бухмин ушёл, не дослушав, к рукомоинику под яблоней и наскоро помылся. Хорошо, что своя вода — не меняется. Не убывает, не старится, думал он, обсыхая на ветру. И земля...

* * *

За тарелкой кислой капусты, за банкой тушёнки, привезённой Бухминым, и за вином заморским слушал он потом тётку, не спрашивая ни о чём.

— Дети скоро придут. Митя с Гришенькой хорошо за девочками смотрят. В рост их гонит обоих! А на чём — расти? Не на чём... Федя-маленький покрепче. Ну, у него кость широкая, отцова... А Пашу моего под Курском убили! — Не ест, всё смотрит тётка Родина на Бухмина распахнутыми сонными глазами, как сомнамбула. — В боях он пал. Смертью храбрых погиб. Вот нас отстоял зато.

— Знаю... Помянем!

— Ты пей, мне не надо. А то я плакать начну. Себя потом не соберу, — отворачивается тётка к окну, поправляя косынку. — Дрожать во мне всё начнёт.

— За Павла же!.. Не водку я привёз, а для тебя: сладкого. Компот, считай. Не выпивка.

— Ну, если за Павла, — послушно кивает тётка, поднимая рюмку с осторожностью. — Комбайн его вон там стоит, на тракторном дворе, под небом. Отсюда, из окошка, видать... Без дела заржавел, негодный, наверно... Ладно. Царствие небесное Паше.

И утирается она ладонью долго, крепко:

— Нас отстоял зато... Не спьянеть бы... Как свечки, они, говоришь, горели?

— Как свечки.

— А наш — пал. В танковом бою. На поле, в сражении... Ну, всё равно, в раю они — вместе. Кто пал, кто сторел. Воины... А помнишь? Боялся он, что замуж без него выйду? Учиться из-за этого не поехал в город, медалист золотой! Вот бросил бы меня тогда, был бы юристом. Лучше для него было бы!.. Дела бы военные перелистывал. До самой победы... Видишь, как получилось?

* * *

Из горы привезённого развесного шоколада выбирает тётка Родина квадрат — прищурившись, ищет самый обломанный, не целый.

— Сладкий какой! — жмурится она. — Горький какой!.. Ты пей, мне хватит. За себя. За победу. Что нас отстояли... Ну, вот. А я одна, с пятерыми сиротами на руках осталась, Федя. С сиротами я на руках, милый ты мой... То кур держала и петуха, чтобы детям по яичку сварить, подкормить, раз хлеба на всех нету. И получалось у меня, худо ли, бедно. Так чеченцы всех кур у нас перетаскали! Сразу, как приехали!.. Перерезали, съели всех наших кур, — уронив руки на колени, заплакала тётка. — Детям ничего-

шеньки не оставили... Всё тащут. Бельё теперь дома сушим. Щёлоком стираю, мыльца нету. Золу запариваю... Забор мы ещё во вторую зиму сожгли. И без единого полена, Федя, мы эту зиму зимовали! Украли они у нас все наши дрова, перед самым снегом, пока Шарик, дурак, по кругу носился...

Утирается кухонным полотенцем тётка Родина, плачет навзрыд — и опять утирается докрасна:

— Ох, говорила: нельзя мне вина, ни капли. Нервы слабые стали... Зря только надрывалась, от Иртыша самого топляк с детьми волоком тащили, а он сырой, тяжеленный... Распиливали с детьми, всем гуртом. И вот... Чудом не перемерзли мы, Федя!.. Огород не сажали нынче: без толку. Сопрут. Семена вон в мешочке без дела пролежали... И какая только сволочь их к нам выслала, на погибель нашу? Вот в глаза бы я этой сволочи плюнула!

Бухмину молчать уже было не с руки.

— Мне в глаза плюнь, — сказал он. — Я их высылал.

* * *

Зажав рот, простонала тётка Родина совсем тихо. Потом раскачивалась на табурете из стороны в сторону, словно у неё болели зубы.

— Зарежут ведь они тебя, Федя, — сказала она, глядя на него сухими глазами. — Как только узнают... Что ты их выселял... И нас из-за тебя... Вырежут всех. Вот как кур наших, так же.

— Пускай попробуют.

— Они — попробуют... Ты ешь, ешь с дороги. Оладушки с лебедой, а хорошие. У меня горстка белой мучицы была! Ждала я... С работы меня Славик нынче отпустил. Привет наказывал передать. Горячий.

— Зайдёт?

— Нет, — зевнула вдруг тётка от какой-то внутренней невыносимой тоски. — Протезом ногу до струньев стёр. По полям набегался опять, на деревяшке насккался, лежит, поправляется. А деревяшку его Марья за поленницу спрятала. В дрова... Устала Марья с этой его деревянной ногой по двору бегать. В бурьян приткнёт, за бочку засунет, а он — костыли под мышки, прыг-скок — и всё равно отыщет. Ну, поленницу-то перебирать он не станет: не догадается... Не придёт! Сказал только, чтоб ты...

Но, вскочив, изменилась тётка в лице. Кинулась к жестяным часам, висящим на белёной стене, опрокинув свою табуретку:

— Гляди-ка, остановились.

Перетягивает она торопливым паромным движением металлическую скрипучую цепочку, поднимает гирию часов повыше, повыше.

— Думала, приедешь — и заживём, а ты... Совсем одна, значит, я теперь осталась, — бормочет тётка Родина, подталкивая висящий маятник.

Ставит она табурет на место со стуком, будто желая вбить его в пол, срывает с себя косынку.

— ...А Шарик — дурак! Всех охраняет, без разбора! — кричит тётка Родина. — Своих, чужих!.. А у самого на один двор, на собственный, и то сил давно никаких нету: так он измучился весь... И вот, двор наш охранять некому! И двора уже давно нет никакого, Федя! А он всё носится день-деньской, всех, всех сторожит! И его же за это убьют. Чтобы лаять не смел... Без охраны, одна я, с детишками, Федя... А Шарик — дурак!!!

* * *

Рассердившись окончательно, садится тётка к столу и с расстройства из крошечной своей рюмки отпивает вино, как уксус.

— Крепкое какое, — вздрагивает, морщится, поёживается тётка, будто от мороза. — В горле даже горячо!

— Нет. Шарик — не дурак у нас, — качает головой Бухмин, глядит во тьму вина — красно оно, заморское, да уж больно черно — и не пьёт больше. — Он долг свой знает... Дурак — кто долга не понимает... И ты — не

одна. Вы под моей защитой теперь... Кто там у них главный? Веди, показывай. Разбираться будем.

Накидывает тётка Родина косынку на голову, суетливо завязывает концы под подбородком и словно обмирает, уцепившись за край стола накрепко.

— Веди! — торопит Бухмин её, перепуганную.

— ...Что ты! Никуда я не пойду, — приходит в себя тётка. — И тебе нельзя одному... Все тут у них главные. Один главней другого... А сколько их, ты видал? Полным-полно. И они, Федя, войной не увеченные, на фронте не калеченные. Нельзя тебе к ним. Одному!.. Не пушу.

— Дрова вернуть они тебе обещали?

— Какое там! — в сердцах машет на него рукою тётка. — Ничего они не вернут... Мы — русские, Федя! Значит, перед ними во всём виноватые. Перед всеми виноватые мы одни, всю жизнь... Судьба наша такая — терпеть. Молчком — и больше ни-че-го. Ничего нам не полагается, Федя! Кроме этого.

— Ну! Ладно, натерпелись. Довольно!.. С мужиками завтра соберёмся, посчитаемся, кто кому чего задолжал.

— С какими мужиками? Про что ты? — шарит тётка пальцами по столу, торопливо сгребает шоколадные мельчайшие крошки в горку, не глядя. — С кем?! С Панькой? С Витькой? С Петром Ивановичем, что ли? Полегли они все!.. наших-то война выкосила! Только Славик без ноги вернулся... Федя, родной мой! Уезжай ты из села куда-нибудь подальше. Уезжай от греха! И побыстрей. Пожалей нас, Федя.

— Погоди! А начальство что же?

— Районное само их до смерти боится. Не связывается оно с ними. А здесь кто — начальство? Славик одноногий... Правда, ещё русские тут появились, из Астраханской области высланные. Многодетные. Семей пять... Бедные! До невозможности... Истинно православными себя называют и овцами. В трёх больших землянках, на том конце, совсем они тихо живут! Мужики бородатые у них, бабы в юбках до пят, и голодают они страшно, Федя, не получают почти ничего. То из-под снега корни выкапывали, а теперь травой пареной питаются, а — не ропщут: нельзя им. Терпеливые... Ох! Работают, работают без устали, что старьёй, что малый. Ломаются, себя не жалеют, от зари до зари. Со мной, в одной артели. А сами — бесшесные. Держатся наособицу. И знать ничего не хотят. Не разговаривают они ни с кем... Для них — что чеченцы, что мы — не чистые... А какие мы не чистые, если даже икон из угла никогда не снимали, а только шторкой их задёргивали?..

(Окончание следует)